

АЛЕСЬ МАСАРЕНКО

НА БОБРОВЫХ ТОНЯХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Цена 44 коп.

АЛЕСЬ МАСАРЕНКО

НА БОБРОВЫХ ТОНЯХ

Повестъ



*Перевел с белорусского
Александр Нечаев*

*Москва
«Детская литература»
1977*

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Герой этой повести — белорусский подросток, почти ваш сверстник. Он участвует в ответственном задании, которое поручили нескольким белорусским охотникам, в том числе и его отцу, — в отлове бобров для расселения их в сибирских заповедниках. О том, как одна из бобровых бригад занималась этим сложным, увлекательным делом, и рассказывается в повести молодого белорусского писателя Масаренко Александра Герасимовича.

Повествование ведется от первого лица.

Герои повести проникнуты горячей любовью к богатой белорусской природе, полны желания сберечь и защитить ее для будущих поколений людей.

Расстается читатель с ними, как с добрыми друзьями, умными и щедрыми душевной добротой и вниманием ко всему живому.

Напишите нам, понравилась ли вам эта книга.

Ждем ваших писем по адресу: Москва, А-47. ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Рисунки Г. Алимова

Масаренко А. Г.

М31 На бобровых тонях. Повесть. Пер. с бел. А. Не-
чаев. Рис. Г. Алимова. М., «Дет. лит.», 1977.

112 с. с ил.

Повесть о людях белорусской боброво-бобровской бригады, выполнявших ответственное задание по отлову бобров для расселения их в сибирских заповедниках.

Повествование ведется от лица подростка, героя повести, участвовавшего в отлове драгоценного зверька.

С(Бел)2

М 70803—200 332—77
М101(03)77

© Иллюстрации. Перевод на русский язык.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1977 г.



ВЕСЕННЯЯ ТРЕВОГА

Весна всегда приносит с собой светлую, крылатую радость детям. Солнце усердствует, на дворе теплынь — беги себе куда хочется! Даже когда ноги промочишь, не страшно — весна!

Дети весной не хворают, нет. Они весь день готовы торчать где-либо на загуменных возле неугомонно-звонких ручейков. Весь день...

Никто, наверно, не радуется так весне, как дети!

Я тоже жил весенними радостями. И тоже старался поменьше задерживаться в хате. Ни свет ни заря, а я уже у своих запруд (отец велел, чтоб я отводил талую воду от ямы с семенным картофелем): смотрю, все ли они в порядке и сколько за ночь воды прибавилось.

Обычно ночью подмораживало. Тонкая корка матового льда звучно трещала под ногами, с хрустом оседала на тихую воду и тут же мутнела. Поутру возле ямы и близко воды не было. Зато к обеду, когда я приходил из школы, не узнавал своих «гидросооружений» — их сильно размывало, и яму окружали голубые озера. Мне снова хватало работы до позднего вечера.

Вскоре начались каникулы. Тут уж весенние дни пошли веселее: Женя — мой старший брат, я и Броник — сосед пропадали за деревней, на луговине. Постоянной и неизменной нашей игрой была, конечно, «война». Иногда, правда, играли в лапту или свайку, но редко. А после кинофильма «Приключения Робин Гуда» мы увлеклись стрельбой из лука. Стрелы у нас были отменные. Женя сделал свою из смолистой сосновой сердцевины — веретенообразную, длинную, с утолщенной головкой на конце, куда загнал еще и гвоздик, чтобы поострее была. Моя стрела получилась попроще. Это был ровный ивовый прутик, окоренный и хорошо высушенный, а вместо наконечника — выплавленная пуля от винтовочного патрона.

Каждому из нас хотелось стать Робин Гудом, и потому мы долго спорили, кто же все-таки должен им быть. Но так и не пришли к согласию, хотя Женя, как мне показалось, не признал наших возражений и вообразил себя Робин Гудом. Броник вызвался быть нашим связным...

Игра началась.

Мы с Женей отбежали один от другого шагов на пятнадцать — двадцать и давай пускать стрелы — я в него, а он в меня. Его стрелу было хорошо видно, и я легко уклонялся от нее. Он тоже без труда увертывался от моей. Пускали мы наши стрелы словно заправские лучники, целясь по-настоящему — совсем как и Робин Гуд в кино.

Потом была атака. Тут, правда, мы пренебрегли тактикой Робин Гуда и применили свою: отважные, полные воинственного задора, двинулись друг на друга, держа наготове перед собой луки. Веревочные тетивы так туго натянуты, что прямо звенят. Отпусти — и стрела не минет цели. Передо мной был уже не родной брат, а «враг». Женя, конечно, думал и чувствовал то же самое, но был в еще большем азарте, чем я. Он не умел проигрывать, побеждал меня всегда и всюду — старший ведь. А тут я не сдавался. Не отступал. Не бежал от него. Я упорно защищал свои позиции: наполовину усохший кражистый дуб, еще в войну опаленный близким взрывом немецкой бомбы, и «море» — воронку от бомбы.

Женя первым отпустил тетиву. Гвоздик его стрелы по самую головку вонзился в мою верхнюю губу. Так и не успев прицелиться, я уронил лук — кровь заливала меня... И Женя тут же пришел мне на помощь — стал моим санитаром. «Море», которое я оборонял, вскоре покраснело: мы замывали рану, а заодно придумывали, что сказать родителям. Скоро моя губа закрыла нос, вздулась так, что я хорошо видел ее — блестела она, как линза в бинокле.

Мы уговорились молчать и даже поклялись, что никому и слова не скажем, как все это произошло. А ежели и спросит кто, поинтересуется, то так и объясним: бежал, споткнулся и расшиб губу об острый камень...

Но, видимо, еще ни одна война не обходилась без предателей. Уже вечером Броник, польстившись на конфетку, забыл об уговоре и рассказал нашей матери все так, как и на самом деле было. И я понял тогда: друзей не выбирают — ими становятся.

БЫЛЬ И НЕБЫЛИЦА

Как только сошел снег, мне чуть ли не каждый день приходилось быть свинопасом. Дело в том, что моя сестра Нина присматривала за колхозными свиньями — двумя черными породистыми хрюшками с уймой поросят и тучным ушастым хряком, которого почему-то звали Джоном. Хороший был этот Джон: смирный, кроткий и очень уж общительный. К тому же любил ласку. Подойдет к костру: «Рех-рех-рех, хрю-хрю-хрю...» — просит, значит, чтобы почесали его. Пожалуйста! Но сперва я садился на него верхом, как конник, и он катал меня — благодарностью зарабатывал. Даже рысцой бегал и галопом скакал. Сидеть на нем было мягко, и седла не надо. Джон сам возвращался к костру, ложился на бок, и я чесал его сколько ему хотелось. Он вытягивался, закрывал глаза, затахал и только изредка довольно похрюкивал...

Пас свиней я на выгоне, а чаще всего на ложках — там когда-то была пасека моего деда Андрея. От этих самых ложков и до болота, которое клином упирается в густой еловый лес, тянулась еле видимая канава. Когда-то она была глубокая и служила стоком внешних вод, но теперь берега ее оплыли и сплошь заросли крушинником и ольхой. Раньше, если верить старикам, по этой канаве подходили к деревне волки. Крали гусей, свиней, овец — все, что угодит в зубы, попадет на клык. Если свинья была, скажем, тяжелая, не под силу зверю, тогда он брал ее зубами за ухо и уводил подальше в лес... Но это было когда-то, не теперь. И все же я на всякий случай усвоил кое-какие правила, которых следовало придерживаться мне как свинопасу. Вот, например, одно из них. Пастух, когда увидит следящего за добычей волка, не должен подымать крик, отбиваться надо молча. В этом случае волк не так в себе уверен, думает, что его не боятся, — потому не решится нападать. А ежели он почует шум, крик — быть беде. Бессилие и переполох пастуха подталкивают, торопят зверя, озлобляют его и придают решительности. Тут уж он не медлит, не ждет, куда прибегут на помощь, — лютует...

Волков я, признаться, не боялся. И скорее потому, что дома у нас было охотничье ружье, из которого мне много раз приходилось стрелять самостоятельно. Более того, отец нет-нет да и брал меня с собой на охоту. Дичи мы, правда, не приносили. И только потому, что не попадалась. Мать говорила, что на меня, дескать, зверь не бегит и что я — горе-охотник... Да отец не обращал внимания на эти слова, и, когда открывалась охота на тетеревов, мы снова зачастили в лес. Тетеревов в те годы было много. Вылетали они на опушку — там их токовище — большими стаями. Может, только потому и попадали кой-когда в наш ягдташ. Но моей заслуги в том не было — приманивал к себе косачей отец. Он ловко подражал им, чуфыкая точно так же, как и они. Глупые птицы: подлетают совсем близко, а бывало, даже и на шалашик, наскоро возведенный из еловых ветвей, садились, не замечая того, что в шалашике этом притаился человек с ружьем наготове...

Пас я свиней обычно не один. Федька Ткач, мой одноклассник, пригонял

двух овечек, Витька Клепень — телка, а Митька Буц и Лодик Медюха никого не пасли, но их не отогнать было от нас. Весной, конечно, хорошо возле костра. А тут еще компания такая. Митька с Лодиком приносили патроны, мы затевали стрельбу: кидали несколько патронов в огонь и отбегали... Трах-х! Трах-х! — рвались патроны, разбрасывая в стороны дымящиеся угли.

Так мы однажды перепугали деда Лаврена. Он часто приходил к пастухам, чтоб покурить, конечно. Своей махорки у него, видать, никогда не водилось, а ту, что приносили хлопцы, курил с охотой, чуть ли не млея от наслаждения... Так вот. Улучив момент, когда Лаврен, грея у костра спину, начал раскуривать очередную самокрутку, Лодик сыпанул в огонь горстку автоматных патронов. Сами мы успели отбежать, даже в межу полегли, а Лаврен не сразу разобрался, в чем дело... Ошеломленный неожиданной стрельбой, он, вобрав голову в плечи, резко метнулся в сторону, но тут же упал — страх сковал его всего, прижал к земле. Самокрутка еще раньше, у костра, выпала изо рта...

Что-то подобное, надо сказать, Лаврен уже и раньше пережил, во время оккупации. Надо же, вздумалось ему попросить у встречного фашистского офицера закурить. Немец сначала прикинулся добряком — дал ему даже сигару. Обрадовался Лаврен, заулыбался: «О пан, хороший пан, молодец! — хвалил он офицера. — Уж будьте столь любезны, сударь, дайте и прикурить... У нас тут, понимаете, кресалом огонь высекают...» — и стал показывать на пальцах, как все это делается. Немец слушал-слушал его да — раз! — достал пистолет и давай ему тыкать дулом под нос: «Прикуривай, рус Иван!» Затрясся Лаврен. Сигара выпала изо рта. Но немец не отступался: поднял сигару и снова сунул Лаврену в рот. «Прикуривай, рус Иван!.. Прикуривай!» И так муштровал до тех пор, пока Лаврен не поднял руки: сдаюсь, дескать, ваша милость, виноват — никогда больше не стану просить...

Чего нам только Лаврен не рассказывал, и все складно, интересно. Должно быть, за это мы и любили его.

— Вот я, знаете, тоже пас когда-то овечек... А их помногу было у некоторых зажиточных мужиков. В одном дворе, скажем, по семь-восемь, а то же десять. Конечно, тогда сукно в лавках хоть и было где, так по цене недоступно, дорого стоило. Потому-то сами сукно ткали. И овечек приходилось держать... А пасли их по очереди — так вот, как и коров теперь пасут...

— Редовками, значит? — перебил его Митька Буц.

— Всяко было... Одно время и пастуха нанимали, но недолго побыл — чем-то ему не угодили селяне, ушел... Ты, Плешь, — назвал он Митьку по уличному прозвищу, — слушай, коли старый человек говорит! — Затянулся махоркой, пустил дымок из ноздрей. — А волков тогда было до дьявола. И мы всегда брали с собой пистонку...

— А что это такое — пистонка? — снова не удержался Митька.

— Это ружье. Но не такое, как теперешние ружья, патронов к нему не надо... Ладно, Плешь, сиди тихо, слушай! Так вот, не было такого

дня, чтоб кто-нибудь из деревенских не увидел волка. Случалось, что волк прямо на глазах у пастухов лютовал. Тут уж он маху не давал — душил не одну, а две-три овечки и потом только в лес уматывал...

Значит, подошла и наша редовка, наш черед, так сказать. Погнал я овечек с братом своим, Тихоном. И надо же: всегда брали с собой пистонку, а тут вдруг не взяли, забыли. И как раз же волка повстречали... Пасмурно было, дождь накрапывал. Мы, это, сидим себе под дубком, разговариваем. А потом обедать стали. Сидим, значит, запиваем хлеб молоком. Поглядим — овечки все целы, да еще и сбились тесно одна к одной. И хорошо, что сбились, не убегают в лес — все на виду, перед нами. Как только поели, Тихон стал издали считать овечек. Что такое?.. «Чья-то чужая прибилась, лишняя!» — говорит он. Я тоже пересчитал. Да, лишняя! Поближе подошли... И остолбенели просто, точно в землю вросли: среди овечек волк! Вскочит и приляжет. Снова вскочит и опять к земле жмется. Овечки не убегают и не блеют. Сбились в гурт и ждут, что будет дальше. Баран, правда, смелее всех оказался: храбро встал перед волком, воинственно выставил рога вперед — подходи, зверюга!

Мы раз свистнули, другой, а волк и не подумал удирать. Еще скакнул, осмотрелся, а потом и вовсе присел на хвост. «Ну, коли бы пистонка...» — шепчет Тихон. — Так он близко, волчище!» А волк прилег — нисколько не боится нас. Я и говорю Тихону: «Повернем-ка мы домой скорее — неспроста все это, ей-богу... Ишь как дурачит овечек, хорошим, значит, прикидывается!..» А Тихон свое: «И надо ж, не взяли пистонку! Вот головы, а?! — Потом все ж согласился и он: — И вправду, Лаврен, скорей давай поворачивать наше стадо... Может, и отбоярится как-нибудь от этого лиходея серого, выкрутимся...»

Кусты, правда, небольшие, хилые. Липняк кой-где растет, орешник, но не густой и орешник-то... Проскочили мы, значит, это место, смотрим — все овечки целы. Рады, не верим даже, что все так обошлось... Тут нас и нагнал Федонька. Глухой он был на одно ухо, седой весь — постарше, чем я теперь... Ты вот, Герасенок, — по-своему называл он меня, — спроси у своего батьки, он тебе скажет, что Федонька еще какой-то дальний ваш родственник. Жил он на краю деревни. Моя и его хата стояли рядышком, стреха к стрехе... Вот он подбегает к нам, Федонька этот, слова выговорить не может, в страхе весь, показывает руками на кустарник. Мы глянули туда, а там — знакомец наш, волк! Вышел, это, из кустов, стал и глядит в нашу сторону. Бежать вслед не решается — деревня рядом, хаты видны... У Федоньки борода дрожит, ноги подгибаются. Он и рассказывает нам: «Д-драл я, значит, л-лыки, как вдруг кто-то и-и ка-ак м-махнет с разгону через меня!.. Глянул я из-под руки — аж вот т-такой волчище! — и показал рост. — Ладная зверина! Сбить, конечно, хотел меня с ног, чтоб легче душить было. Пастыю только — шелк! А ежели бы не промахнулся, то и схватил бы меня за горло...» Тут я и говорю Федоньке: «Да вона же он, тот волк стоит! Какой же он волчище? Маленький волк, молодой, глупый еще...» Федонька огляделся, успокоился. Как только дрожь в коленках поутихла, погрозил волку кулаком:

«Помогишь ты у меня, негодник!..» А минутой позже начал жалеть зверя: «Голодный, видать, бедолага, коли на человека кидается... Пусть бы и унес чью-либо овечку... Моих-то здесь все равно нету...» — Лаврен улыбнулся, обвел нас своим прищуренным взглядом и, крикнув, сел у костра, как раз напротив меня.

Тут я и не удержался, потому как историю эту тоже знал. Совсем и не Федонька лыки драл в кустарнике, а сам Лаврен. Овец пас не Лаврен с братом, так как у него не было брата — он умер еще маленьким, а мой отец со своим старшим братом Филиппом.

— Дед Лаврен, — говорю я, — это ж вас волк за овечку принял. Вы как раз в кожухе были, согнувшись, вот он и сиганул...

— Так ведь я и говорю: сидел, это, спокойненько, лыко драл, а он и бросился, разбойник... До смерти напугал, чтоб ему пусто было! А тогда стал, это, и хоть бы хны: смотрит, нюхает — ловит, значит, овечий запах да все на дыбки изловчается стать, чтоб подольше овечек видеть...

Тут я снова проговорил:

— Дед Лаврен, вы же тогда батьку моего просили, чтоб он поскорее ружье из дому принес. «Беги, Граська, по ружье, а то мой топор в липняке остался... Прогнать надо волка подальше в лес» — вот как вы говорили. Разве неправда?

— Ну, правда. Говорил, а что? — Лаврен насторожился, вытаращил глаза и, вскочив, спросил: — Постой-ка, милоч, а ты откуда все знаешь? Никак, батька рассказал, да?

— Он. Все рассказал.

— Ну и молчал бы уж, коли знаешь. Пусть бы эти оболтусы слушали, — скосил глаза на Лодика и Митьку, насутился. — Ну, скажем, я старик, с меня и спрос невелик, а вы ж хоть бы учились хорошо... Так нет, остались опять на другой год, значит? Это ж сколько вам, сердешные, годков-то понадобится, чтоб десятилетку осилить, а? — Он засмеялся: — Глядите, хлопцы, чтоб вас еще на третий год не оставили в четвертом классе. Вот будет! А там же, в пятом классе, говорят, еще трудней — там дробь какие-то... Не верите, то вот он вам пусть скажет, — показал рукой на меня. — Он небось в шестой перешел уже, а вы вряд ли выкарабкаетесь...

Лаврен докурил самокрутку, бросил окурочек в костер.

— А к табаку-то зря с малолетства присосались. Теперь уж вам и не отвыкнуть... Этакая зараза, табак-то, не приведи бог! От него трудно избавиться... Отрава, яд... — продолжал Лаврен, а Митька с Лодиком слушали его и улыбались. — Бездельники вы, лоботрясы! Нам, когда я таким был, не давали спуска. И школ, скажу я вам, тогда не было столько, чтоб всем учиться... Вы вот у родителей своих спросите, пусть скажут, как они учились. Ого-о, теперича красота, а не жизнь!..

И правда, вечером мне отец рассказал про свою учебу, про первую и последнюю свою учительницу...

— Наставница, казалась, одно только и знала, что книжки... Сколько их у нее было!.. Да все с рисунками, все в твердых, матерчатых перепле-

тах. Красивые и, должно быть, интересные книги... Школа была в Демидовой пятистенке, что стояла на отшибе, над самой Загорчмой — не речка, а, скорее, заболоченный овражек с водой наподобие чая...

— Какого это Демида? — спросил я. — Не того ли, что в Черикове живет?

— Его, конечно... — подтвердил он мою догадку. — Тогда ж Демид только женился. Лесником как раз был, вот и отбухал себе просторную хату-светлицу, и, значит, место для школы нашлось. А в Ходоров он потом уже переехал, когда землю получали. И уже после войны в Черикове осел... Так вот, мне наставница и советует: «Тебе, Герась, учиться надо. — И говорит так, чтоб мой батька слышал. — Ты, вижу, и книги любишь, а их мало любить — их читать надо...»

Мне не терпелось научиться читать толстые книги. Потому-то я рвался в школу. Старшие братья, Филипп и Никита, поддержали меня. Они были уверены в том, что наука не торба, за плечами не висит, спины не мозолит, но сами почему-то не очень охотно учились: окончили по два класса, да и все тут, забросили науку. Какое! Филипп было зачастил с наставницей на вечеринки. Правда, их можно было часто видеть за книгой: сидят при лучине, читают вслух. Догорит одна лучинка, Филипп новую запалит, и снова читают. То наставница читает, то он — чередуются. Поначалу Филипп плохо читал — мекал-бекал, как заика все равно. И она научила его схватывать глазами все слово. Наставница изредка поглядывала на печь, где прятался я, слушая их чтение...

Филипп познакомился с ней, когда был в волости на базаре. Стоит он возле подводы. И тут к нему подходит нарядная девушка. Интересуется, откуда он... Выходит, она уже который раз в тот день на базар приходила — искала попутную подводу. И вот наконец ей повезло — уговорилась с Филиппом. А там и квартиранткой нашей стала. Может быть, и замуж за Филиппа вышла бы, но в скором времени приехали за ней родители — жениха ей там какого-то присмотрели, богатого, и забрали домой...

Так вот, я ходил в школу. Наставница дала мне новенький карандаш и чистую тетрадку. Учился я так до первого снега. Несколько дней, правда, и по снегу бегал в школу, босиком... Ноги горели от холода, я пробовал греть их: садился то на одну, то на другую — по очереди. Наставница, конечно, все видела, но молчала. А когда я перестал ходить на уроки, она однажды пришла к нам домой и долго убеждала моего батьку в том, что учеба — необходимость и что через некоторое время все дети будут учиться. Но мне так и не купили ни свитки, ни сапог. Хоть бы лапти сплели!.. Родители мои, как тетерева, тянули одну и ту же песню: «Не велика хитрость ковыряться в земле... Мы прожили без науки, и он, Граська наш, проживет».

И я бросил школу. Теребил дома куделю, сучил пряжу, помогал ткать полотно — зарабатывал, одним словом, себе на одежку... Было не до книжек.

КОГО ВИДЕЛ ВО СНЕ ОТЕЦ

Собрались мы как-то всей семьей, поужинали, но из-за стола не расходились. Слово за слово — и разговорились мои родители. Стали вспоминать прошлое, пережитое...

— Бывало, — начала мать, — родители ругали своих детей за то, что в посты танцуют, веселятся. В филипповки — перед рождеством и великим постом — перед пасхой грешно было на вечеринки ходить... А лучше Граськи никто не играл на гармонии. Вот хлопцы наши, малиновские, вздумали перед святками вечеринку устроить. А в Ходорове как раз у кого-то крестины были, и Граська за кума там и за музыканта. Он, правда, за мной приходил. Долго упрасивал, да я не пошла. Куда ж мне идти, ежели мы еще свадьбы не сыграли... Вот хлопцы наши и подговорили Граську, чтобы поиграл. А гармонь где взять? Своей же у Граськи нету. Та, на которой играл на крестинах, — Филиппова. А Филипп хоть и родной брат, да не давал свою гармонь — боялся, что порежут ножом, как уже бывало. Идет гулянье на крестинах... И как раз хлопцы малиновские на коне за Граськой прибыли. Чей это конь был у них? — вдруг спросила мать.

— Чей? Павел Свириденко приезжал. Его и конь, — ответил отец. И теперь уже он рассказывал: — Я вышел во двор, вижу — Павел стоит на морозе, ожидает. Тогда я скоренько вернулся в хату, будто играть. Сел и гармонь на колени, а бубен возле себя поставил. Попиликал, правда, немножко. Те, кто были в хате, потопали-потолклись и стихли. А я боком, боком — драла с хаты! Эх, рассердился Филипп — нет гармонии и бубна. Запряг коня — думал нагнать меня по дороге. Да где ж это он меня нагонит, если меня так везли, что конь всю дорогу стрелой летел!.. Приехали мы в Малиновку, гармонь и бубен в сарае в сено запрятали, а сами в хате в уголку притихли — знали, что Филипп искать будет...

— А ночи ж долгие... — перебила мать отцову речь. — Филипп ездил-ездил — измотался вконец. Он и прислушивался, и в окна заглядывал, а кругом тихо-спокойно... И все ж не утерпел, заехал ко мне, спрашивает: «Где Граська?» Я и говорю: «Сегодня не был еще, а что?» А вижу, что он злой-презлой — не верит мне, что Граськи нету у меня. «А ничего!» — рассердился он и хлопнул дверями. Поехал назад в Ходоров. На том и закончились их крестины. Хлопцы ж наши ухари были: высledили Филиппа, когда он ехал домой, и тогда уж как стали играть — до утра...

После короткой паузы мать спросила отца:

— А ты мне так и не рассказал, что тебе тогда было, когда воротился домой?

— Что? Другую гармонь купили.

— Как другую? — удивилась мать.

— А так. Филипп продал свою.

— Вот видишь, у тебя все не так, как у людей... Сколько ко мне хо-

дил — и всегда без гармонии: то Яшка Ратниченко принесет свою, то еще кто... Дадут люди, так ты уж и рад стараться... Что-то мне помнится, что не было гармонии у вас!

— Ну не было... Филипп и эту, другую, продал...

— А после ты еще и на какой-то маленькой играл... В пост же нельзя танцевать — грех. А как раз вербное воскресенье было, и я в Пропойск ходила. Девка ж — наряды нужны. Вот и ходила, чтоб юбку какую да кофту к паске купить. И так ногу натерла — тут вот, на пятке, мозоль здоровую намяла. И на тебе — вечеринку хлопцы устроили... Чую, и Дзюбкарь мой там. — Мать смеется: — Давно уже, Грасичка, не называла тебя так... Когда все то было... Ох, годы, годы... Летят как быстро!

— Мама, а почему Дзюбкарь? — спросила Надя. И к отцу: — У тебя ж, тата, нос был нормальный до войны, правда?

Я хотел уцепиться Надю, чтобы она тут же замолчала, перестала пронос: у отца, конечно, до войны был красивый нос...

— За что Дзюбкарем мать меня называла? — заулыбался отец. — Шлем я солдатский носил... Островерхий такой, с клювиком.

— Буденовка это, а не шлем, — сказал Женя.

— Правильно, буденовка. Но и шлемом называть можно... Вот поэтому-то мать и прозвала меня Дзюбкарем. А в тот вечер особенно старалась. Чуть что: «Не подходи, Дзюбкарь!» Все веселятся, пляшут, а ее завидки берут, она и недовольна. Я раз к ней подступился, другой, а она все свое: «Отстань, Дзюбкарь!» Тут, вижу, Акулинка смеется — услышала, значит. А потом и она зачастила: «Дзюбкарь!» Была такая Акулинка, на краю Малиновки жила. Косоглазая рохла, с буклями на голове. И когда она успевала накручивать свои букли... Ага, гляжу, Ева моя рассердилась — заковыляла домой, не усидела!

— Да не так же все было, не так! Очень я там слушала, что твоя Акулинка говорила, — начала оправдываться мать. — Я станцевала польку, а нога так разболелась, что хоть плачь! Махнула рукой на танцульку — и домой. До Марьи дохромала, села возле окна, гляжу, как люди ходят. Сама себя прокляла, что пошла на ту вечеринку... А за мной, помню, увязался Коля Марковичев — выпивши был — и всю дорогу наедал. В женихи все набивался, спрашивал: «Почему бы тебе, Ева, за меня замуж не выйти?..» Убежать от него я не могу — нога болит. Услышала Марья, что не Граська со мной, подошла и отогнала его... А как нога тогда болела, вовек не забуду. И чего только не делала — даже лягушку прикладывала...

— Мама, а зачем лягушку? — заволновалась Надя.

— А лягушка холодом своим боль снимает.

— Ай, мама, пусть бы она жила, лягушка... — Надя готова была расплакаться — так жалко ей стало лягушку.

Отец снова возвращается к начатому раньше разговору:

— Акулинке той, косоглазой, я потом такое подстроил, что она и про танцы забыла... — Отец курил и улыбался.

— Слушайте вы его... Вот уж хвастун! «Подстроил»... Тебя же, сказывали мне, видели с ней! Что, детям стыдно признаться? «Косоглазая»... Не верьте вы ему — она ведь совсем не видела ничего, покуда очки не купила... А-а, кудри запомнил?! Да ты признайся уж, что млея по той своей Акулинке. Тебе она небось каждую ночь снилась, а теперь говоришь... А как же он, голова, поступил... Даже стыдно детям сказать: подговорил ребятню, а те в ее пуховую шапочку конских катышков накидали...

— А та Акулинка маленькая была? — снова спросила Надя.

— Нет, деточка, не маленькая — невестой была. Такая вот, как Валька Мишурова, как Нина наша. Ладная была. — И к отцу: — Ну разве так шутят?

— А ей давно хлопцы собирались санки подкинуть... Чтобы не форсила, одевалась как все. А то шапочку! Даже теперь редко кто в таких шапочках ходит... Модница была — не подступись. Все по-городскому старалась слово вернуть: «что» да «кто». А сама в няньках не усидела в городе. Вытурили — детей била...

— Вот-вот! — смеется мать. — Вот на ней и надо было бы тебе жениться. Акулина накрутила бы тебе кудри. При ней бы ты пикнуть бы не посмел! А я что — робкая... — Мать немного помолчала. — Я ведь так и не досказала про свою ногу... И надо же, один раз поплясала и чуть без ноги не осталась. А теперь пляшут и ни поста, ни черта лысого не боятся...

НЕОЖИДАННОЕ ПИСЬМО

Его принесли как раз под вечер. Было оно адресовано отцу. А дома у нас так заведено: если пришло письмо, то читается оно обязательно вслух — чтоб слышали все, и обязательно, чтобы слышала мать. Отец, конечно, читать и писать умеет, но распечатывает письма не он, а кто-нибудь из нас, детей, — кто окажется под рукой. Он же и письмо читает, а случилось и так, что никого из нас не оказывалось дома, тогда мать забирала письмо и шутишь шпыняла отца:

— Тоже мне грамотей нашелся!.. Окончил полкласа всего, шевелить научился губами — и уже не подступись, переписку ведет... Придут дети, вот мы и поглядим, от кого письмо. Может, знакомая какая пишет, недаром хвост трубой держишь...

На этот раз письмо прямо от почтальона попало в мои руки. Отца не было дома, он уже ушел на ферму сторожить колхозное стадо. И я спрятав письмо за пазуху: может, важное что, срочное — занесу сейчас же отцу, пусть прочтет.

— От кого письмо? — вышла вдруг из огорода мать. — Батьке?

— Из Славгорода... от Михалькова, — ответил я, потому как на конверте значился обратный адрес.

— Прочитай, — сказала мать коротко.

— Так это ж батьке пишут.

— Прочитай. — И мать подступилась ближе.

Я начал читать. Знаю: нехорошо, но что поделаешь.

— «Герасим Андреевич!

Ехал я к тебе, ехал, но, как видишь, не добрался. Надо же, когда свернули с шоссе, застряли. Дорога там совсем раскисла от весенних дождей. По-видимому, только на тракторе можно пробраться в вашу деревню. Но у нас, к сожалению, был не трактор, а всего лишь машина-полуторка. И мы, веришь, полдня буксовали, еле выкарабкались снова на шоссе...

Думаю, ты уже догадался, коль я так действительно хочу видеть своего охотника, то есть у меня к нему, стало быть, важное дело. И вправду пробирался к тебе я не даром. А вот с кем я всю эту неделю колесил, ни за что не догадаешься... Да что ж это я мариную тебя? Так и быть, признаюсь: бобров этим летом будем ловить! Да-да, бобров! И не удивляйся — это все правда. Откуда, спросишь, мне известно такое? А вот. Прибыл из самой Москвы представитель зоологической конторы Главного управления охотничьего хозяйства Малинин Кирилл Александрович. Контора эта обеспечивает дикими зверями и птицами все наши зверинцы, зоологические сады, парки и другие подобные учреждения... К нам же Малинин приехал для того, чтоб организовать, а потом и начать работы по реаклиматизации бобров, которых мы, выходит, и будем ловить. Ну как, радостные вести, а?!

Сейчас Малинин в Минске, согласовывает с республиканским начальством место отлова бобров. Повез он и список охотников, которых мы тут с ним наметили для этой работы. Включил я и тебя, Андреевич, в этот список. Так что готовься, будешь бригадиром. Тебе предназначается участок, куда входит Проня с притоками и близкими к ней болотами и озерами... И еще. Отлов начнется с 15 июля. К этому времени ты подготовь лодку и бобровецкие снасти. Конечно, подбери себе надежного напарника... Да не вздумай только отказываться — где же мне найти тогда такого бригадира, как ты? Словом, не сомневаюсь, что примешь мое предложение, ведь занятие это как раз по тебе, справишься, и ничего, что инвалид. А нет, бери себе тогда в помощники сына которого... Да смотри, чтоб и у него охотничий билет имелся, иначе не допустят к отлову. Вот и все. Будешь у нас тут — заходи, жду».

Письмо это, конечно же, надо поскорее показать отцу. Вряд ли он откажется от такой охоты... Наоборот, еще как обрадуется!

— Михалькову все время не сидится, словно червяк его какой точит... Вишь, теперь уже батьку твоего в челядники к себе подбивает, — начала мать недовольно. — Ох, чует мое сердце, накличет на наш двор беду этот Михальков... Не хватало еще, чтобы твой батька в пролобку¹ где ввалился, таскаясь по болотам да по озерам... Что они там себе думают,

¹ Пр о л б к а — трясина, скрытая глубокая яма; зимой — прорубь, запорошенная снегом.

начальники? Бобров же нельзя ловить, зачем грех на душу брать?.. Вот пусть только батька твой согласится поехать на бобров, так я, не сойти мне с этого места, все брошу! Пальцем не пошевелю, ничегошеньки не стану по хозяйству делать...

Михалькова я знал давно. Он сколько раз заезжал к нам и в эту зиму, даже ночевал, когда готовил облаву на волков. Правда, тогда в нашем лесу волков не удалось обложить — вовремя убрались, почуяв беду. Выследили восьмерых спустя несколько дней, но уже за Сожем, и отец туда не ходил — далеко.

Должность председателя районного общества охотников и рыболовов Михальков занимал уже третий год. С отцом моим знаком был с довоенного времени — тогда еще Славгород назывался Пропойском...

На ферме отец колол дрова. Он должен был вскипятить воду в котле для утреннего поила телятам. Письма не стал читать, а только спросил:

— От кого это? — и мимоходом взглянул на конверт. — Хм... Михальков... Хорошо, читаем. Схожу вот в хлев к коровам, погляжу; что там сегодня делается — может, опять плохо привязаны... Ну, справляйся тут с дровами. — И пошел.

Я взялся докалывать сосновые чурбачки.

Вернулся отец в сторожку через каких-нибудь полчаса. Вытер при входе свои кирзовые сапоги, прикрыл покрепче дверь, чтоб не открыло ветром, прошел к бачку с водой, повернул краник и, сняв шапку с черным меховым верхом, подставил под струю — стал пить. Затем поднялся, закрутил краник, прошелся по сторожке, взглянул на дрова, которые я принес со двора и сложил возле печки.

— О-о, тут и на завтра еще останется, — и полез за печку.

Достал смолистую плашку, нащепал лучины, которую потом аккуратно уложил в печку, для подтопки наверх набросал дрова.

— Теперь зажжем — и спокойны... — Он задержал в руке и долго крутил суковатый кругляш, который я так и не осилил, не сумел расколоть. — Ты бы его вот тут, вдоль сучков... И не с комля надо колоть... Береза — та легче колется, а этот завитой суковатый кругляш с одного маху не расщепишь... Да не велика печаль, сгорит и так!

Отец отложил полено в сторону, достал из нагрудного кармана блестящую зажигалку и поджег смолистую подтопку.

— Который уж раз говорю Микитенку, чтобы сменил цепи. А он все мудрит-выгадывает: стянет проволокой звенья, зажмет клещами и снова надевает на шею корове. А та прямо задыхается на короткой цепи, вертит головой, покуда не лопнет эта его проволочка алюминиевая. Корова, понятно, и давай по всему хлеву бегать. Гоняйся потом за ней, лови ее, пройду рогатую... Сегодня Буржуйка оторвалась. А у нее ж не рога — вилы, того и гляди, пропорет какой-нибудь другой корове бок... Не-ет, так не дело мучиться. Разбазарил цепи, так пусть покупает новые, на то он и заведующий фермой... — И начал скручивать сигарку. — Ну, читай-ка письмо. Что там еще Михальков придумал? Может, на конференцию какую вызывает?..

— Нет, он про бобров пишет.

— Ну-ну, читай. — Прикурил самокрутку от огня, который начал охватывать дрова. — Читай. Новое что-то, если про бобров...

Я прочитал письмо. Притушив самокрутку, отец усмехнулся.

— Ну вот, видишь, друзья не забывают! Правда, отлов еще не скоро — почти два месяца ждать, — начал он издали. — Что ж, будем готовиться. Покуда не поздно, попробуем, конечно, кое-чему научиться в этом деле. Придумать надо ловушку, испытать... Да и еще. Бобры бобрами, а волчицу как бы подкараулить — волчат надо забрать...

— А где ж мы лодку возьмем? — спросил я, так как это меня больше всего волновало.

— Лодку? А вот будем лозу драть да сушить... Заготовим, сдадим в магазин — и купим лодку!

— А можно лозу драть?

— Можно. Сегодня мне как раз об этом и говорил продавец. Просил даже, чтоб занялся лозой.

— А ежели Ив́анову взять? — вдруг предложил я свой вариант. (Нина наша недавно вышла замуж. Иван — муж ее, живет возле Сожа.)

— Ив́анову? Развалину такую? От нее же труха останется, коли погрузить на машину да протрясти сотню километров. Нам же небось придется вверх на Проню забираться. Там, говорят, бобра много... Нет уж! Или купим, или лучше сами смастерим. Хотя на этот сезон придется купить. А вот деньги... Где их добыть срочно, давай и подумаем с тобой. Значит, вчера я несколько рублей приглядел, но их надо взять. Давай-ка, сын, завтра, когда вернемся с охоты, помозгуем, а? Сагитируем Женю, Колю...

— Не раму ли ты вытащить надумали, где шершни? — спросил я.

— Ну да, ее. — Отец посмотрел на меня, улыбнулся, кивнул головой. — Не забыл, значит, как тебя шершень огрел в лоб? Надо же, я как раз гайку отбивал молотком, а тебе и показалось, будто молоток с ручки соскочил...

Такое забыть я, конечно, никак не мог — не зря ведь я тогда всех шершней выкурил. Что ж, и хорошо, что выкурил...

— Я даже придумал, как все сделать, — продолжал отец. — Главное, чтоб стронуть раму с места. Видал, какой я домкрат из МТС притащил? Для чего ж, по-твоему, он мне понадобился?.. Так вот, стоит только взяться, а там... взвалим раму на катки, и пойдет она как по маслу!.. — Отец поднял не расколотый мною кругляш и швырнул в печку. Рой искр обдал его руку. — Видишь, и колоть, выходит, не надо — сгорит! Тут все сгорит, только давай. Даже осиновый барсучок... — и засмеялся.

Я гляжу на него и не понимаю, почему «осиновый барсучок» и, потом, что это за барсучок такой — осиновый? Переспрашиваю, так как догадываюсь: тут что-то другое, что-то не так.

— Какой такой осиновый барсучок?

— А ты разве не знаешь? Спросил бы у Юдина... Хотя нет, он тебя не учил — Женьку.

— Ну и что?

— Что? Квартировал, значит, этот самый Юдин у Христинки. А учителям после войны не то что теперь — готовых дров не привозили, самим надо было заботиться. Я тогда лесником был. Иду Майданом, ружье за плечом. Слышу — залаяла собака. Прислушался — на человека лает. Прошел малость — встречаю Юдина. Он, значит, с топором. Спрашивает: «Андреевич, подскажи, где бы тут на растопку барсучок смолистый раздобыть?» А я давно присмотрел сухостоину, и как раз барсук на ней. Ладный такой, метра с два будет. Говорю ему: «А вот через дорогу направо, шагах в двадцати, здоровенная сухостоина стоит. Воз дров будет и смолы на месяц».

Юдин обрадовался, поблагодарил и пошел, как я сказал, направо, а я дальше в лес.

Воротился он домой и хвалится: «Лесник мне хорошего барсучка показал... Правда, без пилы измучился весь, ух как натюкался топором! А завтра коня возьму — дрова перевезу. Барсук хорош! Даже культяпка выросла — так перла смола из него... Отменный барсук, растопка будет что надо. На месяц хватит. Но так упарился, будто меня из духовки выволокли».

Христина обрадовалась: «Э-э нет! Мы этот барсучок на растопку не пустим. Керосин-то у нас весь вышел, и в лавке нету. Вот мы лучше его распилим, поколем меленько — и по одному поленцу жечь будем...»

Назавтра поглядела Христинка на «смолистый барсучок», что притащил квартирант, и... к полудню уж каждый в деревне знал, что Юдин с самого Майдана нес на себе осиновой лишаеватый телепень. Думал, смолистый, а не знал того, что осиновой смолы нет, что это лишайный нездоровый нарост — лес ведь тоже больной бывает.

Прибежала Христинка к нам и рассказывает, и все не верит мне — думает, что я пошутил над Юдиным. А тот, чудак, оказывается, не дошел до сухостоины, а набрел на сырую осину да и подумал, что это как раз и есть сухостоина.

Отец взял у меня письмо, сложил его пополам и спрятал в нагрудный карман.

— Привел я тогда Христиңку с Юдиным в лес, показал сухостоину: «Пилите!» Смеются... Вот тебе и учитель, видишь... Потом к нему и приклеилось прозвище — Барсучок. Так он и уехал с этим прозвищем. И кажется, хорошо, что уехал от нас — не прижился бы тут никак. Непонятливый он какой-то был, ничего сам смекнуть не мог... Оно ведь так: ежели человек уродился таким, то его уж никак не изменишь... В городе, может быть, и Юдин был как Юдин. Там проще, там все готовое: пришел — купил... А тут не то, тут ему не город. Тут надо все самому делать. Тут любой человек насквозь виден. Коли удача постигла — слава ему. Зато уж промах его до смерти люди не забудут... Вот, допустим, поехал бы я куда-нибудь... Скажем, в Армению.

— Чего это так далеко ехать, зачем?

— Ну, допустим, поехал бы. Юдин же вот откуда-то прибыл к нам...

Ну и я подался бы. И что? Надо мной бы смеялись там! Чужаком бы прослыл меж них: ни языка, ни обычаев, ни, главное, мудрости ихней. Ничего... А она, мудрость-то, всегда в мелочах таится. У себя дома все мелочи понятны, впитаны с молоком матери, как говорится. Тут мы все мудрые...

Слушаю отца, удивляюсь и, конечно же, верю его словам. Жизнь он знает дай бог как! Никто так со мной еще не говорил о жизни... А в книжках жизнь не такая; наверно, тот, кто их писал или пишет, живет другой жизнью, своей... А отец вот рассказывает, и ты уверен: все правда, все было именно так!

ОХОТА НА ВОЛЧИЦУ

Весной хорошо в лесу. Бьет в виски тугой хвойный настой мельтешит перед глазами туманная полумгла. Светлеют, наливаются синькой просветы в вершинах сосен.

Минули болотную речушку Железинку. И я, вспомнив, что дед мой, Андрей, жил когда-то тут, возле болота, спросил у отца:

— А место, где лесничевка была, далеко?

— С полкилометра еще... А что?

— Поглядеть... Там и колодец был?

— Криница была, а возле нее — комяга¹. Большая, ведер на двадцать. Из нее пили не только кони да коровы. На зорьке часто лоси подходили, козули... Ничего подворье: и хлев, и погреб, и сад даже — все было, — говорит отец.

Я иду рядом с ним и удивляюсь: в такой глухомани жили люди — это ж просто нелепо! А отец ведет беседу далее:

— Трое лесников тут жило и объездчик. Правда, не все были семейные. Объездчик с женой, ну и дед твой то же самое...

Вскоре мы повернули в мелкий кустарник, затем нам встретился густой лес — одни елки: маленькие — по грудь, и тут же, почти рядом, — другие, рослые громадины, и вершины их, кажется, упираются прямо в самые облака. Наконец мы кое-как продрались на квартальную линию. Там, извиваясь среди густого малинника, бежала узкая тропинка.

— Вот и пришли... Ты садись-ка тут где-нибудь, — распоряжается отец и глядит по сторонам, чтоб выбрать для меня удобное место засады. К тому времени уже хорошо рассвело, и потому он спешит: — Под этой вот елкой приземистой затаишься. Как раз и ветер на тебя. Тут же у волчицы самый ход! Эх, припозднились мы, пораньше надо бы выйти из дому... Теперь гляди же, не зевай! Появится — целься прямо под левую лопатку. И не торопись, свали с одного выстрела. Не забудь: картечь в

¹ Комяга — длинное корыто, выдолбленное из толстого дуба или осины.

правом стволе, а пуля — в левом. Поначалу из правого бей, а после, уже вдогонку, из левого шаракнешь. Да проверь при мне, чтоб не получилось, как у Степана Труса: палит по волку утиной дробью, а волк и не думает падать, бежит себе мимо флажков... Ну, смотри тут, чутко сиди! — И пошел на соседнюю квартальную линию, чтобы в тылу (так он предполагал) перехватить волчицу.

Сижу под елкой. Пристально вглядываюсь в каждый кустик. Уж солнце стало испарять росу. Вскоре вся просека дымилась рыхлым туманом и не так хорошо просматривалась. А волчицы все не видать. И у меня появилось неверие в отцов замысел — волчица не пойдет линией, так как издали слышит человека.

Мне припомнилось, как мы однажды целых пять дней потеряли на яму-западню, которую готовили для волков. Тогда ведь, сразу после войны, они ходили целой стайей, но все наши приманки так и остались нетронутыми. Правда, потом в ту яму-западню угодил Жулик — собака соседки нашей, Афимьи: она выгнала Жулика со двора за то, что душил цыплят.

Вдруг... Я даже присел, и все во мне остановилось: и кровь, кажется, и мысли, — в кустах что-то метнулось. А потом — прыг на дорогу! Бог ты мой — заяц! Сидит косой на линии и ушами шевелит. Лохматый, неряшливый; шерсть болтается клочьями — линияет косой... Просто удивительно: и уши у него линияют — торчат вверх, хоть рогатку делай!..

Вскоре, совсем рядом от меня, выбежал и сел на дороге еще один заяц. Этот чуть побольше первого. Наверно, зайчиха. Тоже такая же неприглядная. И так же прядала ушками... Что бы это значило?

И надо же, именно в эту минуту далеко на линии показался отец. Он возвращался из своей засады. Зайцы посидели еще несколько минут спокойно. Но вот заяц насторожился, тревожно поднял уши — и прыг-скок с линии в кустарник! Следом за ним и зайчиха.

Покинул и я свое укрытие, вышел на тропинку.

— Ну и что? — спрашивает отец как раз с того места, где только что были зайцы. — Проворонил?! — Он пристально вглядывается себе под ноги. — Эх, разиня! Прошла, выходит, волчица — роса сбита. — Потом заметил на песке, который желтел на одной стороне тропки, заячьи следы и разочарованно сказал: — Заяц пробежал... А я уж думал — она...

— Заяцы! Их два было! — подтвердил я.

— Так близко? И не стрелял, удержался?

— А что? — Я насторожился: «Неужто что-либо не так и он забранит меня?»

— А то, что я правильный выбор сделал... — Я не понимаю его. Он тут же разъясняет: — Ого, если бы этих зайцев да увидал кто-нибудь из наших деревенских — ни за что не усидел бы вот так, как ты тут, пальнул бы. Обязательно пальнул! Ясно?

— А-а... — И я радуюсь, что отец меня понял, что он на моей стороне. — А выбор-то при чем тут?



— Выбор? Помнишь, мы ходили на лису?

— Помню.

— Так вот. Тогда я все думал, кого из вас начать приучать себе в помощники, так сказать, своей левой рукой сделать... Ну, дал я вам обоим выстрелить...

— В дощечку стреляли. И я семь дробинok загнал!

— Вот-вот! А почему ты загнал, а не Женья? Он же старше да и раньше уже стрелял, понимаешь?

— А что? У него, может, патрон холостой был?

— Не-ет, патроны одинаковые были.

— Не понимаю.

— Он, когда нажимал на спуск, жмурился. А ты сразу — щелк! Ты не ждешь выстрела, а он только и думает о нем...

Мы свернули в сторону, и через несколько метров отец остановился.

— Пить не хочешь? — спросил он.

— Ай, криничка... И сруб даже! В лесу, а кто-то ж вот сделал... Чистая вода какая! — дивлюсь я, видя свое отражение в воде.

— Я каждый год ее поправляю, чищу.

— Так это здесь мой дед жил?

— Тут, выходит... Вот на той деляночке огород был. — Отец показал рукой на пролысину впереди нас. — А левее чуть — там хатка стояла, или, как ты говоришь, лесничевка... А где полынь растет — видишь? — хлев был. Я хорошо помню — все стены дробью иссечены... Соберутся, бывало, лесники — и давай пулять: мол, чье ружье кучней бьет. В этом же вот, что у тебя, ружье стволы от нашей старой пистонки. И видишь, какие еще стволы! А занесу Никите, пусть подберет под них колодку хорошую да ложу сделает новую — ружье не уступит любому магазинному...

У дядьки моего, Никиты, я кое-когда бывал. Золотые руки у человека! Оружейник что надо — на всю округу. И охотник заядлый.

Эти стволы от дедовой пистонки?.. Мне кажется, что все то, про что рассказывает отец и что связано с моим дедом Андреем, было давным-давно. И какие уж там стволы могли уцелеть в такое бурное время! Но уцелели же вот. Недавно отец принес для меня это переделанное из пистонки ружье — валялось оно за печкой у Адамовича.

— Не поехал бы он в Сибирь, дед твой, разве мы не ходили б с ним на охоту?.. Все тогда наши выбрались — один я и остался. Марша, правда, вернулась обратно, замуж тут вышла и застряла в Тросливке, так как Захар ее там жил. Никита тоже вскоре вернулся и, кажется, твердо окопался в Бакове — место ему очень по душе пришлось: Сож под боком, луг, лес... Теперь уже сидит не рыпается. Речка, знаешь, великое дело!.. Оно, может, и тут место хорошее, у нас, но вода далековато. А это уж не по мне без воды. Уехал бы и я куда-нибудь к реке, на бережок, да где ни был, а лучшего уголка, чем тут, так и не нашел. Перед войной надумали уже выбираться в Славгород, но не успели... Что ж, пусть и нет речки поблизости, но все равно мы не сидим без дела. Всех зверей как на привязи держим — и сухопутных и водяных...

Отец любит шутить, и я понимаю его: без шутки, может, и нельзя. Она снимает с души налет будничности, украшает ее улыбкой и, наверное, воодушевляет даже на что-то возвышенное, верное.

— А дед еще и на Усохе жил? — спрашиваю у отца.

— Хату там купил и переехал из лесу. А потом уже, как стали землю давать, в Ходорове огнездовался. Пятистенку выстроил ладную — семейка ж дай бог какая! Да и дети выросли — Филипп, Никита, я... Конечно, не один он махал топором. И только бы, кажется, жить да радоваться, а тут на ту беду мама померла... Вот и перевернулось все...

Я услышал от отца рассказ про моего деда Андрея Парфеновича, который после похорон бабушки моей, Марьи Акимовны, прожил в одиночестве совсем мало. Как-то однажды, позавтракав, он куда-то ушел. Домой воротился только через неделю, поздно вечером. И не один — привел из далекой залесной деревеньки себе в жены косялявую Арину, которая к этому времени похоронила уже второго мужа. И вот Арине выпала новая радость — старый Андрей стал ее третьим...

Новая метла по-новому метет. И это правда. Арина-мачеха не только «мела». И не только постукивала ухватом возле печки, нет! Вскоре кочерга ее смело гуляла по спине невесток, по рукам падчериц Христины и Лизаветы, по стегнам пасынков Герасима и меньшого, Павлика, — все они жили при отце.

Мачеха, когда видела, что ей что-то не по душе, вся ходила ходуном, стучала, кажется, всеми костями своего скелета, а потом забиралась на печь и там пыхтела, как квашня, и ойкала-ахала, посылая всяческие проклятия своим обидчикам. Старик потакал ей — супруга все-таки, утеха! Она и лютовала, забрав волю в чужом доме. Где ж это было, чтоб мачеха, да еще с таким норовом и опытом уступала в чем-нибудь пасынквой жене... Не-ет!

— У нее, вона, один в пушку, а другой в брюшку, — юлила она перед стариком. — А в хате как запущено, не видишь? А ведь это ее дело, снохи... Надо отделить Граську!

— Отделить? — попробовал перечить дед Андрей. — Это же мои дети... Мои, не чьи-нибудь! Так пусть при мне и живут, куда же их отделить, зачем?

— Пусть идут куда хотят... А не отделишь — не жить нам вместе мирно-спокойно...

Под вечер, подоив корову, Арина стала убирать молоко. Залила в горшки, спрятала в сундик под замок. А тут как раз внучка проснулась — Нина, дочка того самого Граськи, которого мачеха отделять надумала. Подошла внучка к бабке, попросила «мака». Арина не поскупилась. Но вместо молока Нина получила полную кружку обмывок из подойника (какая «добрая» бабка Арина!). Правда, эту сценку своими глазами увидел пасынок Граська. Он поднялся с нар, что были около печи, взломал замок... Не таялся, сделал все это у мачехи на глазах. Обмывки выплеснул мачехе в глаза, но та успела отскочить, и потому облил ей только космы да кофту...

Арина неделю грохотала домашней утварью, пыхтела и охала. На этот раз многого добилась — старик согласился отделить сына. Но и этого для нее мало — уперлась и стояла на своем, чтобы ничего не отдавать, чтобы все осталось при ней...

Не обошлось без суда. Молодые получили пристройку к хате, хлевок с телкой. Но радовались они этому счастью недолго: вскоре дед Андрей поехал в Сибирь. И хата вместе с пристройкой и хлевком, погребом и пасекой была продана. А молодой семье, как говорится, так и не досталось ничего — ни кола ни двора...

Прошло много лет. Мачеха Арина перестала быть мачехой — дед Андрей помер. Она продала все хозяйство и вернулась преспокойно домой, в свою родную деревню.

— Остались тогда мы с Евой, начали строиться. Помню, какую-то сараюшку трехстенную купили. Пришлось еще стену врубливать... Работал я так: ночью коней пасу, а днем на постройке стараюсь. Потом и новоселье справили... Своя хата, свое и хозяйство! — заключает отец.

— Вот дед какой... Все-таки поехал... Старый, а в Сибирь!..

— Лучшей жизни искал, землю богатую, тучную... К тому же он тут и не хотел оставаться. В ту пору бандитов много было. Их отпрыски небось притаились... Откуда же в войну столько полицаев бралось? Из бандитского отродья шли, оттуда! А у лесника хоть друзей и много, а недругов еще больше...

— Как это?

— Как? А вот был такой Демид, скажем. Жил он когда-то тоже в Железинке. Будучи лесником, воровал из чужих обходов лес и тайно продавал. А дед твой возьми да излови воров в своем обходе. Они говорят: «Демид же нам позволил — это его обход!..» Демиду потом уволили. Он и затаил злобу. Вскоре забрали его в солдаты, а потом — на фронт. Так он с фронта убежал и на Усох притаился. Зашел к своему дружку, а тот подпоил его и сам напился... Идут по улице. Демид с винтовкой был. Стреляет и кричит: «Андрея бить идем!» А Марша, сестра моя, на супрядках была как раз. Выбежала вместе с девками на улицу — бросили и самопранки свои и веретена, слушают, кто это стреляет да кричит. Слышит Марша и своим ушам не верит. А девки ей и говорят: «Беги домой, батьку твоего Демид убить хочет!..» Прибежала она в хату, кричит не своим голосом, воеет: «Скорее, таточка, убегай — идет Демид бить тебя! Уж совсем близко... Стреляет...»

Из хаты все убежали. А наставница, квартирантка наша, не успела, замешкалась. После она рассказывала: «Демид вошел в хату, спрашивает: «Где Андрей?» Она и отвечает: «Не знаю». Он тогда начал пугать ее — выстрелил в потолок. И так перепугал, что и она бросилась наутек — через окно высочила на улицу.

От нас, не найдя батьки, Демид пошел на сборище, или, как теперь говорят, на сходку. Сходка была у Лександра Рыхвейки. Демид ввалился в хату, приказал всем встать. Сам же тем временем зырит глазами, ищет, с кем бы ему расквитаться, кто насолил ему. «А-а... — увидал он

Данилу Маркова, активиста. — Большевичок!» Данила — под стол! Прополз подлабочьем в порог. Оказался за спиной у Демиды. На лавке сидело много людей, и Демиду не видно было, как он полз. Буденовка его осталась на столе. На ней — красная звезда. Демид, рассказывали, глядит на звезду, и лицо его кровью наливается... Побагровел, вскинул винтовку и хотел было пальнуть под стол, но в этот самый миг Лександра с печи — хоп! Да за винтовку — толкнул ствол вверх. Демид выстрелил, и пуля расщепила балку. Как раз и Данила подскочил, вырвал у Демиды винтовку и штыком — шарах в пузо! Демид и осел... А на другой день богу душу отдал. Его положили в сани — много народу собралось — и отвезли прямо в болото, сбросили там в снег...

— И что, никого не судили?

— Почему же, разбирались. Следователь приезжал, допрашивал, ругал за самосуд. Дали, кажется, Даниле условно год, и все на том окончилось.

Мы проходили около барсуковища. Отец вдруг стал приглядываться к дороге.

— Следы чьи-то высматриваете?

— Скажи ты, нет, наверно, тут барсуков... (А-а, вот чьи следы он ищет — барсучьи!) Как же так? Всегда жили они здесь, а теперь разве нету? Даже не верится, — забеспокоился он. — Давай завернем, посмотрим... Коли тут, то весь этот бугор истоптан будет, заслежен... Завернем — сам себя проверю.

Свернули направо.

Песчаная, с высоченными соснами земляная выпуклость. Сосны все ровненькие, толстые, с медно-темными гладкими стволами. Знаток назвал бы их, конечно, корабельными. А тут не выдать им корабля: втихаря спилит-срубят их жадный кустарь-одиночка, продаст кому-нибудь в горod — хотя бы и тому, например, кто строится, кому позарез необходим лесоматериал. Да еще такую цену заломит — дай боже! Ушлые хваты, знают, что к чему... У Адама Тарасени даже дубинка резиной обита — это чтоб не было шума, чтоб шито-крыто было все, тихо. В лесу — оно так: один живет честно, а другой мудрит-выгадывает, побочную копейку ищет. «Лес — бес... Он велик, — думает этот другой. — На мой век хватит...»

— Тата! — тороплюсь сказать я. — Капкан вот, прямо перед норой насторожен... — А сам тревожусь: хорошо, что собака не с нами — могла бы повредить лапу...

Отец подошел ко мне. Прежде чем доставать капкан, сунули в его настороженную пасть небольшой сук. Капкан жадно щелкнул, сучок переломался. Потом еще три обезвредили. Капканы, выходит, поставлены совсем недавно. Расчет простой: барсук, возвращаясь с кормежки, в какой-нибудь да попадет.

— Чьи это капканы? — долго гадает отец. — Ага-а, вот они чьи — Мишкины! У него есть такая проволока... Его капканы, его! Барсуков взялся душить, бирюк проклятый!.. Прошлым летом бобра того, что льдом

притерло и я снял со льдины полуживого, сожрал. Смотри ты, какой Мишка! Отходили-спасли зверя от смерти, а он не подумал о том, что зверь этот редкий, — убил. Раскопал хатку и задушил... Кто же, как не он. — следы были от его сапогов... А я только думал: разведем в своем ручье бобров, и пусть живут. Там им и корму и воды вдоволь. Да разве разведешь, коли рядом ненасытный человек живет...

— Это у Мишки туберкулез, говорят? — интересуюсь я, так как слышал, что он даже пенсию получает как инвалид второй группы.

— Притих, клопик, в щель залез... Может, и туберкулез, пес его знает!.. Надо же: кто воевал, а кто и в полициях ходил... Он ведь, Мишка этот самый, когда забрал нашу гармонь, часто на ней немцам да полициям на вечеринках играл... Как уж он воевал, как помогал врагу — не знаю, а что веселил, про это всем известно. Словом, прихвостнем был у немцев, слугою. Да скоро образумился, сумел загладить свой промах... Теперь вот государство наше пенсию дает, жалеет его — больной же. Хорошая наша власть, сострадательная... Иностранец какой-нибудь небось и не поверил бы, что так все и есть на самом деле.

— При обыске тогда Мишка и бубен забрал, верно? — спрашиваю я у отца. — Но как же бубен снова очутился у нас?

— Дядька твой, Иван, принес — украл его у Мишки, можно сказать, из-под носа, когда тот пьяный спал. А гармонь не удалось — она была у него за спиной.

— Шпаненок еще тогда был Мишка, а в полицию полез.

— Куда ему в партизаны, когда батька, говорят, тоже немцам служил. За что и попал под справедливую пулю...

— Мишка, если посмотреть на него со стороны, кажется таким забитым, таким горемыкой. Недотепой прикинулся, согнулся-сгорбился, захворал... А был явным врагом, — встречаю я снова. — Все они, бывшие полициан, говорят теперь, что, дескать, их принуждали в полицию идти, а что даже на дурость свою да на молодость ссылается...

— Всяко, конечно, было... Но Мишка небось теперь кается — не может быть, чтоб злость таил. А что бирюк-нелюдим — так весь их род такой... Живут и такие, куда же им деваться?

Да, живут. Работают вместе со всеми — одинаковые, так сказать, равноправные... Но забыто ли то время, когда они другими были — полицианами?

Нет, не забыто.

Мне и сегодня помнится тот день, когда я, шестилетний мальчишка, случайно попал в гнездо врагов — в их управу... Да, помнится!

...За Малиновкой, близ шоссе, обосновался полицейский участок. Немцев там мало было — только начальники, а все остальные — полициан.

Я часто ходил в Малиновку к своей бабке Доньке, к теткам Марье и Марусе — неделями гостил у них.

И вот как-то среди дня к тетке Марье ввалился полицей и попросил самогонки.

— Ну что ты, Володька, где ж я тебе самогонки возьму? Сам видишь мое житье: не живу — бедую... Сейчас не до самогонки мне. Чистая правдочка, Володька, не гоню холеру эту... Не самогонщица я, — исповедалась тетка.

Но от полиция никак не могла отвязаться — ему подай бутылку самогонки! А самогонки не было. И он наказал тетку: повелел ей «дежурить» — на протяжении всего дня должна обеспечивать водой весь полицейский гарнизон, или, как еще называли управу, «курятник». По тем временам это была страшная кара — такое дежурство. И отказаться никак нельзя!

Тетка начерпала три бочки воды, опустила в них деревянные круглые крышки — старые днища от бочек, — это чтобы вода не так выплескивалась при переезде через гать. Я попросился, чтобы поехать вместе, и она взяла меня с собой.

Выбрались из деревни. Худенькая «монголочка» — белогривая кобылка — насилу тянула скрипучую телегу. Левое заднее колесо вихляло, терло щеку, цепляя ободами решетку. Я стоял на дроге, что длинно торчала сзади, держался за бочку и смотрел за колесом — только бы не соскочило с оси.

За деревней нас встретил уже знакомый мне полицей Володька. Он еле держался на ногах — кто-то щедро угостил его самогонкой. Полиций что-то невнятно кричал — неужто эдак пел? Кобылка, как я понимал, и та перепугалась — быстрее засемила ногами.

День был солнечный. Не хотелось верить, что идет жестокая война и что где-то умирают люди. На шоссе было шумно. Над лесом плыл удушливый, смрадный запах выхлопных газов, нестихающий машинный гул резал слух. Когда мы поворачивали в «курятник», я увидел колонну зеленых, с черно-белыми крестами, бронированных танкеток.

Ворота нам открыли после того, как часовой внимательно и придиричиво осмотрел подводу и бочки, да и нас также. В конце двора тетка остановила кобылу. Распаренные, в белых халатах вояки — кухонный наряд — начали усердствовать возле подводы. Бочки снимали стоймя, осторожно вносили их на кухню.

На площадке, посреди двора, немецкие прихвостни коротали время: с увесистым березовым чурбаном в руках стоял мордастый полицей-толстяк, а вокруг него — остальное войско, свободное от службы. Каждый выставил ногу за круг, в середине которого и расхаживал толстяк, высматривая, на чью бы ногу обрушить чурбан...

И тот, кто, зазевавшись, получал удар по ноге, поспешно хватал злосчастный чурбан, становился в круг и выжидал момент, чтобы в свою очередь обрушить пудовую тяжесть на ногу зазевавшегося участника этой дикой забавы.

Ничего себе игра, сразу видать — фашистская.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-ПЯТИМИНУТКА

Раму от довоенного русского арттягача, который солдаты-окруженцы утопили за деревней в болоте, мы все-таки привезли в магазин. Правда, потратили на это не один день, как рассчитывали, а чуть ли не целую неделю.

Все, что только можно было забрать от тягача — открутить или отломать, — давно уже забрали эмтээсовцы. Помню их «студебеккер». Машина три дня стояла близ болота, а над поймой все это время не умолкал дребезжащий, беспорядочный гул — гроыхало часто и неровно: то глухо, будто под землей, то громко и резко, захлебисто.

Везли раму не то чтобы на каком-нибудь коне — на себе, на незаменимой нашей самодельной тачке с колесами от пулемета системы «Максим» и передке от телеги.

Самый младший из нас — Коля, которому и семи лет еще не было. Старший — безрукий отец наш, инвалид минувшей войны. Осколком от немецкой мины ему оторвало самый кончик носа, выбило зубы; мелкими осколками изранило левый бок, а два совсем маленьких осколка достигли легких. Их видел я, когда ходил с отцом в больницу на рентген: ему нужна была справка для комиссии по инвалидности, а я прихварывал после простуды. Медсестра стала так, что заслонила собой экран аппарата. Я думаю: «Чего это она мешает мне посмотреть на бабкину грудную клетку?» Быстренько обошел сестру, глянул на экран: как раз на легких чернели две точки — все равно как дробинки-нулевки. «Что б это могло быть?» — подумал я. Когда бабка начал одеваться, я подошел к нему и тронул там, где были эти точки. Спросил:

— Тата, вот тут не болит? И почему, скажи, доктор как бы и не видел, что там? А медсестра — та даже старалась загородить от меня аппарат?

По дороге домой отец признался, что в легких у него остались осколки от мины — их нельзя было достать во время операции... И попросил меня, чтоб я не проговорился дома.

И я молчал, не выдавал его тревожной тайны. Но я всегда помню о тех черных «дробинках» — они близко-близко прошли возле сердца. Ведь могли бы... Нет, нет! Они миновали сердце, и смерть отступила!

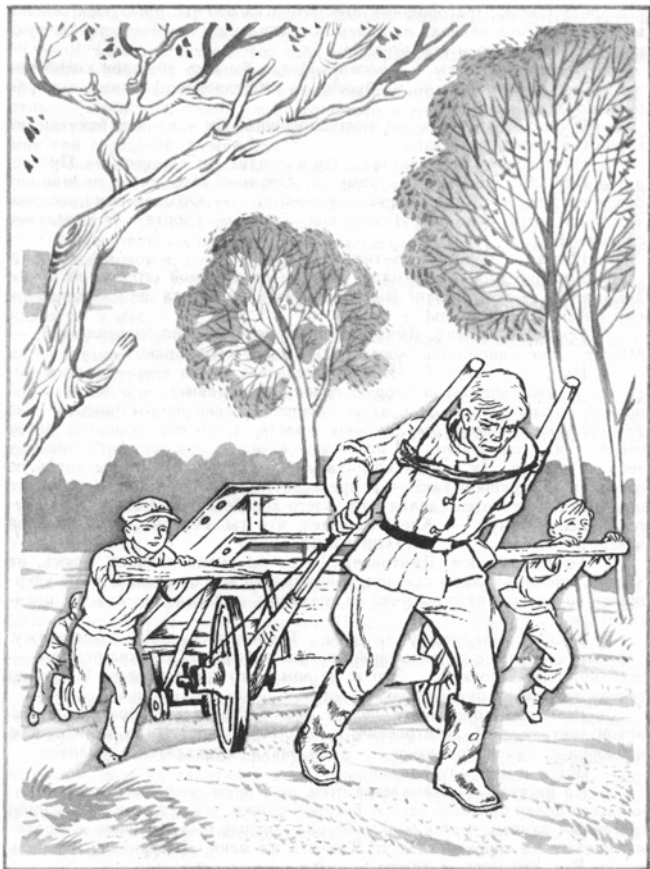
Наконец приковылял на костылях продавец. Не торопясь отомкнул замок, раскрыл дверь настежь. Подошел к нам. Немного постоял, думая о чем-то своем, поинтересовался:

— Как же ты ее, эту раму, Андреевич, приволок? — и постучал костылем. Рама глухо отозвалась на удары.

— А разве я один? Вот они, мои помощники! — Мы втроем стояли тут же, у рамы, и отец показал на нас.

Продавец обошел раму — должно быть, на глаз прикидывал, сколько нам денег дать, потому как на весы ее не положишь.

В это время подкатил к магазину председатель колхоза. Прислонил свой новый мотоцикл к углу и, засучив рукава гимнастерки, шагнул к



пожарной бочке. Пригоршнями выплеснул из нее застоявшуюся зеленоватую цвель, что плавала на поверхности, и начал неспешно тереть рука об руку. Тер долго и старательно.

— Недогадливый ты, Семенович! Подал бы хоть обмылок какой или что... Сам, думаю, подаст... — бросил он укоризненно продавцу, вытирая руки носовым платком.

— Всего, Дмитриевич, не предусмотреть. Да у меня к тому же не корчма, а лавка... Магази́н!

— Ну довольно тебе, хватит... Не расходись, я пошутил. — Председатель обратил внимание на раму. — Ого-го-о! Кто же ее на машину будет грузить, а? Кран придется вызывать... — Обошел раму, остановился напротив отца. — И это твоя, Герасим, работа? — удивленно спросил он.

— Наша, — коротко ответил отец.

— Вот оно что... А я голову ломаю: почему мой сторож по ночам дрыхнет — не пробудиться? Видно, он так уходится за день, что где уж ему ночью бодрствовать!

— Так уж и дрыхну, Дмитриевич? — возбужденно спросил отец. — Может, даже напомнишь, когда будил меня? Послушаю.

— Ишь чего захотел... Чтоб председатель будил его! — и засмеялся. — И кто тебе давал вторую группу, Андреевич? — с мстительной ноткой в голосе начал он и даже быстрее забегал вокруг рамы. — Ты же мужчина в самом соку, можно сказать, а что без руки, так много сейчас таких, одноруких... И почти у каждого из них третья группа, а у тебя — вторая. Ну посуди сам: хату себе, скажу прямо, ты хорошую отгрохал — игрушка! Так? — И председатель пригнул палец — собрался перечислять, что отец сделал для своего хозяйства. — Баню! — И другой палец пригнул. — Хлев! Выходит, что ты, Герасим, и не больной вовсе, а?..

— Ты бы разулся, Дмитриевич, а то на руках пальцев, боюсь, не хватит, ежели и дальше станешь припоминать, что он сделал, — не удержался продавец, которому явно не нравилась пытливая дотошность председателя.

— Знаю, все вы тут друг за друга... Так вот послушайте, что я скажу. Герасим мог бы и в строительной бригаде работать. Потюкал немного — отдохнул, снова потюкал... Это ж не дома, что как возьмется — так до вечера топора из руки не выпускает.

— Дома за него никто не сделает. А для строительной бригады здоровяков хватает... Ай, Дмитриевич, и не стыдно тебе? Надо же к людям хорошенкó присматриваться, — урезонивал председателя продавец.

— Вот я и присматриваюсь...

— Да не туда, — отзывается отец. — У тебя, подумал бы ты, в начальстве целая бригада, так? А вот чем, скажи, эти все твои начальники серьезным заняты, чтобы польза от них колхозу была? Ничем — подхалимничают да горелку хлещут! Так что на меня, Дмитриевич, не пяль глаза. Все, что могу, я делаю.

— Так я ведь и говорю, что ты больше можешь, чем другие, хоть и с одной рукой. Кажется, так?

— Я, может, и могу. А вот твои сообщнички одной рукой и гвоздя не вобьют! — И отец отошел в сторону.

— Чего ж отступаешься? — как бы примирительно начал председатель. — Посмотри, ежели уж на то пошло, я тоже кое-что могу. Не один ты великий спец... — И продавцу: — Мы тоже не лыком шиты... Дай-ка мне там гвоздочек, Семенович.

Продавец принес молоток и новенький гвоздь-сотку.

— А-а... Ну давай, ежели намерен сотку испортить, давай! А мы поглядим на твои, Дмитриевич, способности — может, и вобьешь. Ты же не наш брат — председатель все-таки! — усмехнулся отец.

Председатель подошел к стене, наставил гвоздь в трещину и взял было уже молоток, отец отвел его руку.

— Э, нет! Ты уж, ежели вызвался показать свою смекалку, то не в трещину целясь, а вот тут, на ровном месте... Ой, Дмитриевич, избаловался ты у нас...

Заряд попал в цель: председателю не по нраву пришлось такая шутка — швырнул молоток на крыльцо и ушел.

Отец закурил.

— И откуда нам подкинули пустозвона этого? — безобидно и как бы у самого себя спросил он. — Не везет нашему колхозу на председателей. Этот же, ей-богу, не дотянет и до отчетно-выборного собрания — снимут... Председатель-пятиминутка!

ОТЕЦ ВСПОМИНАЕТ

Который уже день мы проводим в Железинском болоте. Тут много старой ветвистой лозы — как оставишь ее! Хоть и далековато, но поблизости нигде уже такой лозы нет. Поблизости всю пообкорнали.

Особенного умения для такой работы не требовалось. Но как я ни стараюсь, а отец все время — и с одной же рукой! — приносит на прогалину куда больше ноши, чем я.

Вот мы разбросали кору на делянке, чтобы хоть немного проявля на солнышке, а сами улеглись в тени. Пообедали. Отец немного покурил, потушил окуроч, положил на трухлявый пенек — экономил курево.

— Ежели такое солнце продержится, к вечеру наша лоза хорошенько подсохнет. Вся на таратайку поместится. Смотри, сколько мы за одно утро заготовили! Сюда надо еще когда-нибудь приехать. Хоть и болото кругом, не подступиться, зато и лоза!

— Когда-то здесь, наверно, речка протекала. Да вот заросло все и сочится только ручеек...

— Какое заросло! Высохло все! Воды тут было, помню, не подступить-

ся, уток, тетеревов — тьма... А как стали истреблять лес, так и зачахла, высохла речка.

— Чей тут обход был? — поинтересовался я.

— Деда твоего. От Богра начинался и только тут кончался. Большой обход. Весь пешком и не обойдешь за день.

— Кони тогда у лесников были?

— Тогда у всех были кони, кто хотел и мог их держать... Были, конечно, и у лесников. Да разве ж каждый раз на коне? А дед не любил с конем в лесу возиться. Он один околицами ходил, глухими стежками...

— Ловил порубщиков?

— Было, что и ловил. Придет, бывало, домой — и не узнать его, весь белый как полотно... Решительный он был, смелый — в сорочке, видно, родился. Ведь как только не отбивался от своих врагов! И как ни пойдет в лес, так обязательно кого-то поймает, а с иными и схватится. Вот уж кто поистине любил порядок и правду... Возле Богра, значит, был такой случай. Идет и слышит: пилят лес. Подкрался ближе, а там шестеро человек. Увидали они его — к нему. Ружье отняли, об пень — хрясь-хрясь! — изломали... Он, конечно, кинулся удирать. Они — за ним, начали гоняться с топорами... Удалось ему как-то ухватить ружейные стволы. Подбежал к коням — да стволами их, стволами! Напугал. Кони — в галоп. А сам он — скорее в лесничество! Собрал там в подмугу лесников, как раз и лесничий с объездчиком на месте были. Приехали все в лес, глядят — похищен дубняк. Начали искать. Подались по следам — к деревне вышли. Как раз перед выгоном, смотрят, лежит несколько колод в кустах, а кто привез — не докажешь. Допытывались, но никто, конечно, не признается. Взяли депутата, понятого, чтобы свидетелей было больше, составили акт. И лесничий с объездчиком поехали домой.

— Когда это было?

— Как раз после революции. Еще волесть в Долгии была... Присудили, значит, им штраф за дубняк. А на суде и объездчик был, и лесничий, и лесники были — суд же!

После суда лесничий и говорит деду твоему: «Сходи, Парфенович, горелки возьми, пообедает». Он и пошел. Переступил порог корчмы. А там сидят его порубщики, выпивают. Вот один из них поднялся — и к нему: «Ступай, Андрей, выпей с нами...» А он уже бутылку держит в руках и связку баранок. «Что мне вашу пить, я вот свою выпью...» — спокойно так говорит. Тут один из порубщиков стал в дверях, а те, что сидели за столом, принуждают выпить. Он подошел, стаканчик выпил. «Пей еще!» — говорят ему. «Нет, хватит...» — и отошел от стола. «Ах, с тебя хватит?!» — за бутылки схватились и давай его окружать. Он видит, что туго ему придется, и, долго не думая, подбежал к тому, что на пороге стоял, как двинет головой в живот. Дверь с петель сорвалась... Выскочил на улицу, а те вслед за ним — прут на него, к ограде стараются прижать... Он тогда с разгона перемахнул через ограду и огородами в поле подался. Там уже свободно, есть где разгуляться... А в руке

у него только горлышко от той бутылки, что купил, уцелело. Вот он осколком-то этим и отмахивался. Бегали так, куда лесничий не подоспел. Из нагана стреляет поверх голов порубщиков, а те все равно не отступаются: глаза кровью налились, губы дрожат... Сбежались лесники, только тогда утихомирилось все.

Так вот порубщики те и следили за твоим дедом, старались подкараулить его где-нибудь в темном местечке. Но у них ничего не получалось. И тогда они подговорили Ивана Сосунца (лесником тоже работал), чтобы тот подбил Андрея идти в Пропойск через их деревню. А шли они на какой-то там сход. С ними был и дядька мой. Он тоже на Усохе жил. Идут, значит. И сюда вот, где ров размытый, ну, где глинище, у Березовки что, подходят. А там тогда сарай стоял — бойня была, скот били. Вдруг к ним из-за угла выскользнули двое: «Стой!»

Лесникам тогда наганы давали и винтовки. У деда твоего наган за пазухой был, а у дядьки — удобная такая плетка, а на конце — свинцовка. Он, значит, подпоясывался этой плеткой. Так когда те, что высунулись из-за сарая, стали угрожать, одного из них как огрел этой самой плеткой по лбу! Тот и с ног долой. А дед твой из нагана вверх стрелянул, чтобы напугать. Другой, что следом бежал, подумал, что его напарник убит, да и кинулся наутек. Дядька — за ним. И ему тоже перепало... Тут изо рва еще двое бегут — на подмогу, значит. Да опоздали. Дядька одного из этих плеткой уложил, а другой не стал ввязываться, повернул обратно.

— А куда же Сосунец девался?

— Он, видишь ли, зашел в деревню — будто квасу у своих знакомых напиться. А сам небось предупредил, что идут, дескать.

— Хитрый... И что ему тогда было?

— Что? Разве про это знали, что он с ними в сговоре? Они через год подстергли все же дядьку моего, когда один он был, и так избили, что тот вскоре и помер.

— Выходит, что в их деревне всегда водились бандиты?.. Там, говорят, и в эту войну как будто были их тайные землянки, которые только недавно удалось обнаружить.

— Всегда там жулья хватало... Был целый род такой, воровской. Да вот, кажется, вывелся уже: кто из тюрьмы не вернулся, а кто так напоролся на свою погибель... Они же, эти воры, и меня немцам выдали — припомнили мне батьку моего.

— А как это было?

— Просто все... Немцы заняли Пропойск, забрали нас, пожарников, в плен...

— Они, как я слышал, Пропойск заняли без боя?

— Ну, без боя... А почему без боя, знаешь? Так вот. Военные, милиция и мы, пожарники, как могли, конечно, подготовились к обороне. Я аккуратно дежурил тогда на церковной колокольне, сидел с солдатами, и телефон при нас был. Как только ударил первый снаряд, солдаты слезли вниз, так как знали, что церковь хороший ориентир. А я остался,

не знал этого, да и приказа мне не было слезать. Прилетел самолет, начал пикировать и первой же бомбой разрушил хату Астаповых. А они ведь только что новоселье справили. Я помогал им строить хату, там и ногу пропорол гвоздем, да так, что целый месяц потом в больнице пролежал... Сижу, значит, на колокольне. Эх, вижу, на Березовке пыль столбом поднялась, стрельба началась, трассирующие пули летят... «Немцы из Березовки прут!» — кричу я в телефонную трубку. «Как это из Березовки? Гляди, из Довска или из Гайшина!» — это мне начальник наш так говорит. А переправа через Сож была вот так, как роща теперь, за мельницей как раз. Я свое: «Из Гайшина не видно, а уже поронный мост захватили немцы, бьют оттуда по переправе...» А на переправе, вижу, столпилось много военных машин, не успели еще все проскочить на ту сторону Сожа. Вот тут и говорит мне начальник: «Слезай, Герасим, будем и мы отступать...»

Выехали мы, еще до переправы не добрались — видим: разнесло переправу снарядом. Тут уж кто куда: одни, кто умел плавать, поплыли через Сож, другие попрыгали в ров, чтобы не угодить под снаряд или под осколки. И я укрылся во рву — плавать-то не умею... Не успели оглянуться, как немцы заняли город, обнаружили нас. Собрали и посадили всех — и старых и малых — возле рва. А Пропойск горит... Солдаты немецкие окопы роют, дзоты бетонные в землю вкапывают. Потом, как только стемнело, нас этой самой дорогой, что напрямик ведет на Могилев, погнали... Когда шли по деревне, я улучил момент и вскочил в один из дворов и спрятался там, но хозяин тут же выдал меня. Конвоиры только похохотали, посмеялись над стариком — поблагодарили этак за то, что указал на меня. Они, видимо, подумали, что я новичок, не ихний...

Утром пригнали нас в Рабовичи. Там всех проверили — кто мы и откуда. Ближних, чего я совсем не ожидал, отпустили. Эх, мы это кто куда, только бы подальше от беды! Я решил идти домой через Улуки и Закрупец. Проню перешел, лесом иду — тихо. На Закрупце встречаю Павла Семенчука. Он говорит мне: «Не ходи покуда в Ходоров... Немцы свирепствуют — избача гиженского убили... Будто бы кто-то уничтожил трех ихних солдат, так они и лютуют... Пережди лучше здесь, у меня».

И я остался. Павел баню протопил. И Муравьев — этот, который сейчас агентом по страховке, — тоже пришел в бане помыться (до войны-то он секретарем сельсовета был). Мылись мы, говорили. Потом Муравьев заморгал глазами — чуть не заплачет — и ляпнул: «Знаешь, Герасим, убили немцы твою женку... Извини, но не мог я не сказать». — «Откуда тебе известно? Кто тебе сказал?» — насторожился я. «Иван Юдочка, усохский этот...» — отвечает. «И где же ее убили, как?..» — говорю все это, а сам еле сдерживаю себя, волнуясь. «Тюк пилоток солдатских несла от разбитых машин. Немцы проверили ее хотыль¹, увидели пилотки со звездочками — и сразу же расстреляли...»

¹ Хотыль — котомка.

И я не усидел у Павла. Лекса Хамберова приходила в Закрупец поросенка покупать, так я с ней и пошел в Гиженку. Вдвоем ведь не так в глаза бросаешься, как один. Подошли к гиженскому полю, а там полным-полно немцев. Лекса не побоялась, пошла, а я уж изведаль, каково к ним в лапы угодить... Не решился, остался в лесочке. Лежу в кустах. Хотел уже назад в Закрупец податься, но тут вдруг вижу — немец прямо на меня идет. Не дойдя несколько шагов, остановился. И пистолет в руке. Вот он приподнял руку — бах! — в сосенку стрельнул. У меня волосы встали дыбом. Нет, вроде бы он не видит меня, а потом даже пистолет в кобурю спрятал, назад подался. А я все лежу, значит, прижимаюсь к земле — дорога-то совсем рядышком. Слышу, гудят машины на ней. Ага, это немцы из Телешов в Гиженку едут. Проехали! Легче стало на душе. Но все равно тревожусь: как домой добраться? Уже совсем близко дом. Лежал так, покуда не увидел старика, который гнал коров в Гиженку. Выскользнул из лесочка, поздоровался с пастухом. Сказал ему, что в Гиженку надо пройти. Старик, правда, взялся помочь, закурить даже дал. Идем, разговариваем. А немцы кругом... Они, может быть, и не глядят на меня, а мне кажется — глаз с меня не спускают, вот-вот остановят. Наконец вошли мы в Гиженку. Прошел я так немножко по улице — да шмыг в чей-то двор! Не разбирался в чей, лишь бы с улицы убраться. А там, во дворе, полно людей. «Скорее! — крикнули мне. — Иди, я тебя ожидаю!» Это Лекса зовет. Я ей говорю: «Мне бы только к тетке моей, Федоре, как-нибудь добраться...» — «Так вот же, видишь, Кирилл Хропак как раз едет туда. Он ведь сосед ее... Немцы быют свиней, а он отвозит на склад. И тебя подвезет — по дороге как раз...»

Лекса выбежала, окликнула Кирилла. Тот, правда, подождал меня. Поздоровались. Я сел на телегу, запачканную кровью, и так вот добрался до Федориной хаты. Как только переступил порог, Федора и начала плакаться. Правда, потом поесть дала, но я отказался — у меня ведь одно на уме: дома как? Вот и говорю ей: «Слушайте, тетка Федора, как бы про Еву мою разузнать? Сходили бы вы, может, к Марше в Тросливку, а она пусть на Усох подскочит, спросит...» — «А не-ет, Грасичка, не-ет... Тут теперича никому проходу нету. Ты вот лучше честно поступи, как Иван Рофеенок, — покажи документы, что ты не военный...» — и уже в голос завывла-заголосила.

Я рассердился на тетку: что будет, то будет — и не стал прятаться. Только ступил на мостик, что возле магазина, тут меня и задержали. Забрали мою армейскую книжку, посадили в сарай вместе с другими пленными — все солдаты, окруженцы, которых в лесу изловили. А через день приехали в Гиженку эсэсовцы и затарабанили нас всех аж в Потерьевку. Везли на машинах... Заперли в гумно. А там только что пятьсот человек сидели... Их, говорят, завезли куда-то в лес и расстреляли, а нас, значит, на их место... «Ну, всё, думаю, каюк тут будет — собирают новую партию, чтоб расстрелять».

Наступила ночь — врываются немцы с дубинками в гумно. Как стали

нас бить, как стали! Рано утром, темно еще было, выгнали всех из гумна. Мы сидим вдоль изгороди. Как только женщины подойдут, станут хлеб кидать, так стража женщин этих и давай палками бить! Около обеда машины пришли. И загребели мы аж в Бобруйск. Заперли всех нас, арестантов, в крепость. Не помню, сколько там пробыли, только листья на березах все пообъедали... Половина из нас померли. Тех, кто покрепче, отобрали и уж на платформах повезли, поездом. Как только кто-нибудь соскочит с платформы, поезд останавливают и тут же ищут с собаками. Окружат, поймают и так расправляются — смотреть страшно. «Не-ет, думаю, тут не убежишь...» Оно, конечно, соскочить не трудно, поезд тихо идет. И что соблазнительно — кустарник! Тянется вдоль дороги сплошь, густой такой, надежный... А только взгляделся я получше, вижу, что дальше кустарник этот в ровное поле переходит... И тут еще один — хоп! — соскочил. Немец выстрелил — надоело, наверно, останавливать поезд. Нет, поезд снова затормозил. Трое караульных подались за беглецом. Тот уже не убежал — лежал подстреленный. Не стали его забирать, добили в голову — и назад...

Привезли нас так в Минск. Дождь. Загнали в школу. Помню, стояла она возле леса, школа. А неподалеку от нее тянулся лагерь для военнопленных. Заперли нас. Кто ослаб — тут же падает. Его забирают и уносят во двор, бросают в штабель, где трупы лежат. Может, кто и живой еще, а его уже в мертвые записали... Побыл я в таких условиях месяц, поел баланды — окончательно сдал, захворал... Пошел в санчасть ихнюю, а там мне и говорят: «Если бы ты был раненый, тогда, с разрешения коменданта, лечили бы, а так сам захворал — сам и лечись...»

Только вернулся я из санчасти — вижу, на школьном дворе, возле комендатуры, большая колонна стоит, пропуска выдают... Приподнял я осторожно колючую проволоку, пролез под нее и приткнулся к хвосту колонны. Стою. Еще двое так сделали. Но их заметил конвойный и прогнал назад, за колючку. Колонна нетерпеливо шевелится — каждому хочется свободы. Задние на передних напирают, а те — на писаря. Писарь не стерпел наконец: поднялся и стал чехвостить ближайших черенком тесака. Бил по чем попало, не разбираясь. Гонял так, куда все не полегли. Стихли. Установился порядок... Я, правда, не лег. На меня некому было напирать — все подались вперед. И вот писарь походил-походил возле стола, выкурил сигару, а потом раз посмотрел на меня, другой... Тут я и подумал: «Ну, теперь и мне будет, что не лег...»

«Ступай сюда...» — строго позвал он меня, усаживаясь за свой стол. Но я будто не слышу, что писарь меня зовет. Он тогда показал на меня пальцем и снова позвал. И я тогда у него спрашиваю: «Меня, пан, зовете? Подойти мне к вам?» Хочется ведь, чтоб не бил, выкрутиться хочется. «Иди сюда, выпишу тебе пропуск», — говорит он спокойно. Я подошел к столу, стал и все жду, когда он бить начнет. А он спрашивает: «Фамилия?» Я сказал. «Откуда?» Я сказал. «Пропойск?» — и посмотрел на карту. — Давно уже освободили твой Пропойск... — и тут же заполнил бланк. — Вот, получай пропуск за то, что порядок соблюдал.

Я еще и от стола не отошел, как услышал голоса моих земляков: «Пан, запишите и нас — мы тоже пропойские...» Двое: Михась и Самусь — я был уже знаком с ними — несмело приподнялись с земли. Они, конечно, были в первых рядах. У Самуся вся левая бровь рассечена, кровь сочится из раны. Писарь искоса взглянул на свою работу, перевел взгляд на бумаги, стал что-то писать... Оказывается, и землякам моим выписал пропуска. Подбежали они ко мне, радуются. Хлебом со мной поделились, расспрашивают, как я изловчился пролезть под колючку...

Только мы так поговорили, слышим — орет снова писарь. На этот раз он уже, правда, не дрался: приказал солдатам отвести всех, кому не успел выписать пропуска, назад в лагерь. Слышны были только последние его слова: «Хоть вы здесь подохнете все, чтобы я снова занимался вами!» Потом он подошел к нам и предупредил, что скоро придет сам комендант, будет говорить с нами... Правда, через несколько минут появился и комендант, стал запугивать: все время, мол, идите только по шоссе, не сворачивайте, не прячьтесь, а то партизаны побьют или пропуска отнимут... Страшал, значит, нас партизанами — раздобрился, ублюдок...

Вышли мы из Минска. Прошли так с полдня. Я притомился, говорю хлопцам: «Давайте передохнем немного...» Они, правда, послушались. Зашли мы в деревню. Мишка с Самусем отравились по дворам есть просить, а я остался на шоссе. Вышла женщина из крайней хаты, дала мне огурец и говорит: «Тут вам никто ничего не даст — нет у самих. Надо подальше от большой дороги отойти. А тут много таких, что есть просят...» И правда, хлопцы вернулись с пустыми торбами.

Я, признаться, не мог идти быстро — отстал. Они оставили меня. Кое-как дошел я до следующей деревни. Но уж не просился переночевать, не тревожил людей — переночевал в бане. На другой день раненько вышел на шоссе и встретил Романа Левкова. Это уже свой, близкий человек — как родня, можно сказать. И он, Роман, тоже отстал от своей группы. Вот с ним и мне веселей стало ковылять — знакомый ведь, есть о чем и поговорить с ним. Дошли мы так до Бельничей. И только повернули туда, как навстречу нам Мишка с Самусем. Они ночевали в Бельничах. «Тут поедите... Тут люди приветливые, — обрадовал нас Самусь. — Коли есть чем, то не поскупятся, накормят...»

Я в первую хату зашел — дали мне вареную картофелину и кружку простокваши. Поел и не стал больше ходить по хатам, подался на шоссе. А Роман — тот дальше пошел. Я ждал его часа два. Он, правда, сам хорошо наелся и в торбу набрал — на дорогу...

Снова двинулись в путь. Слышим — гудит машина. Гудеть гудит, а саму не видно. Подходим, так она, оказывается, забуксовала в стороне от шоссе. Наша машина, русская. Полуторатонка. И трое хлопцев при ней. Мы подошли, правда, взялись им помогать. Помогаем, а сами думаем: по пути ли нам эта машина? Может быть, напрасно силы последние тратим? «Куда, хлопцы, направляетесь?» — спрашивает Роман. «В Могилев, хлеб молотить. Но сначала за бочками в деревню зааскочим», — говорит шофер. «Так это для нас еще лучше, ежели в деревню. Мо-

жет, удастся нам подзакусить там у кого-нибудь...» — размышляю я вслух.

Когда приехали в деревню, меня шофер к себе пригласил, а Романа позвал к себе другой хлопец. Шофер сказал своей матери, чтоб накормила меня, и та налила мне супу гречневого, на молоке... Подзаправился я, кажется, хорошо. Вскоре и поехали в Могилев. На машине! По дороге догнали Мишку с Самусем — пехотинцев, так сказать. Они и давай махать шапками, а машина не останавливается. Я думаю: «Пусть бы она, машина эта, испортилась, что ли, — может быть, тогда и они, пехотинцы, упростили бы как-нибудь шофера...» Только так подумал, немного проехали — стоп! — машина испортилась! Шофер в моторе начал копать. А тут и Мишка с Самусем подбежали. Взяли их. Правда, с них по пять марок шофер запросил. Надо же, у них даже и марки нашлись...

Снова, значит, мы вместе. Теперь уж уговорились: чтобы не бросать друг друга в беде. Когда приехали в Могилев, Мишка и говорит: «Вы, хлопцы, как хотите, а я пойду с Граськой. Тут много наших земляков живет, тут все мои тетки, вот мы, покуда Граська окрепнет, погостим...»

Пришли к Мишкиной крестной. Она поплакала, посочувствовала нам... Мишка потом попросил ее: «Раздобудьте для нас самогонки хорошей. Большой мой напарник, животом мается — полечиться бы ему надо».

Она правда нашла горелки. Я кружку выпил — согрелось внутри. Тут бы закусить. И есть чем, а я не могу — боюсь. Немного, правда, заморил червячка и как-то сразу заснул. Поспал так дотемна. Слышу, зовут меня ужинать. Вот тут мы снова выпили, закусили блинами, и режь в животе, кажется, приутихла, немножко полегчало мне. Мишкины родственники собрали нам харчей — кто что мог, у кого что было. «Теперь, — советует крестная, — вы куда и не сворачивайте, не попрошайничайте — своей еды хватит на дорогу».

Выбрались мы из Могилева и уже к вечеру были аж в Потеряевке. Что значит хорошая еда! В Потеряевке переночевали. Идем утречком мимо того самого гумна, где нас держали всю ночь, и я даже не верю, что остался жив... Потом где-то уже возле Лопатич догоняет нас подвода. Едет, вижу, Михалка Шимарь. Его я узнал сразу — конюхом он когда-то в пожарной работал. Окликаю его: «Михалка, здравствуй!» Он придержал коня, взгляделся в меня и осторожно так отвечает: «Здорово...» «Ну, что тут у вас слышно?» — и руку ему подаю, здороваюсь. А он: «Я не знаю, кто ты такой...» Тут я и назвал: «Герасим. Кто же еще? Из Ходорова». Вот он оживился, заерзал на сене: «Ай-яй-яй-й... Да никогда бы я не признал тебя, Герасим, коли б не назвал. Похудел ты здорово, измученный весь... Кто это тебя так?...» — «Кто? У германцев в плену был. А теперь вот домой иду, отпустили... Скажи-ка ты мне лучше вот что: как там в Ходорове? Цела ли моя семья?» Он и отвечает: «Был я там недавно, так горюют, что тебя нету».

А мне-то не терпится узнать про Еву. «А семья моя как?» — переспрашиваю, а сам слежу за его глазами: если скажет неправду, то небось глаза выдадут. «Целы все ваши, живы, — сказал он ровно, не меняя

голоса, по-прежнему вглядываясь в меня. — Садись вот, поедем — мне в Гиженку надо. А там тебе рукой подать, совсем недалечко...»

Мне так не хочется снова в Гиженку подаваться, но и пешком уже не могу идти, ноги подкашиваются. Но Мишка настоял-таки, чтобы я все-таки ехал. Он даже пособил мне на телегу взобраться. Уселся я с Михалком. В Гиженку приехали, слез и чувствую, что совсем легко стало, малость покреп. До Усоха доковылял помаленьку, к бабе Кордихе зашел. Сразу же спрашиваю у нее: «Правда ли, что мою Еву убили?» Михалку-то я не поверил — думал все ж, что он умышленно мне не сказал, чтоб не волновать меня. «Да что ты, Граська, что ты!.. Неправда это, нет! Убили Марью Гращиху... И на что бабе пилотки те понадобились... Твоя Ева, слава богу, жива. Вчера она ко мне заходила. Кобылку тут свою отбирала у Агенихи». Вот я обрадовался, словно пудовый камень с души свалился. «Что, и кобылка у них есть?» — спрашиваю, так как интересно знать, откуда же у них может быть кобылка. «Вся пораненная была. Приучили ее к себе, домой привели — отходили...» — «Ну, коли у них и кобылка есть, пусть тогда твоя девка сбегает, скажет, чтобы приехали за мной — совсем я из сил выбился».

Оказывается, ни хомута, ни телеги не было — кобылка только. Прибежали они все за мной. Ева Надю принесла. Взял ее на руки, хотел нести, а пот заливает глаза — ничего не видно... Тогда постоял, поотдохнул немного, передал Надю матери, и пошли... Значит, покуда я очухался, месяца три прошло. Выйду из хаты, и ветром меня качает. Но все же выздоровел. А потом в партизаны ушел. И партизанил, покуда с нашей армией не соединились. Назначили меня в саперы. И вот, как брали Быхов, на пятнадцатом разъезде меня ранило... Положили нас, раненых, на повозку (двое лежали, а трое сзади сели — те, кто был легко ранен: кому руку задело, кому ногу). Везут нас — и все как-то полем. Видать, дороги в лесу не было или, может, лесу не было — не помню. И тут как стало бухать кругом! Немцы, наверно, увидели нас, стали сыпать снарядами. Один снаряд как раз возле повозки разорвался. Санитар наш свалился наземь. Те трое, что сидели, тоже на земле очутились. Видно, убило их. Конь рванул повозку, побежал... Я лежу и здоровой рукой изо всех сил держусь за повозку. Это ж хорошо, что напуганный конь бежал дорогой, поэтому нас не опрокинуло... Двое всего и осталось в повозке: я и еще один солдат, москвич, в голову раненный.

* * *

Я помню, когда отец из плена вернулся. Лицо у него было обросшее щетиной и худое — один нос да глаза. Отец ни капельки не был похож на прежнего.

Он, когда я прибежал с улицы, спал на кровати. Мать как раз собралась донть корову и все приговаривала:

— А слава ж тебе, всевышненький, что уберег его! Крепко ж мы убивались по нем, тужили... Сыночек, погляди — это же твой батька!..

Я смотрю на мать, слушаю ее и не верю: отец мой, знаю, совсем



и не бородатый. И лицо у него не такое заострившееся, и нос... И я не поцеловал его, как делал всегда, когда отец приезжал с дежурства.

Вышел во двор — думаю: «Если это да другой отец, а не мой, первый, убегу в лес или сделаю в сторожке нору, спрячусь, и он не найдет меня... Вот тот, первый мой отец, всегда находил. Даже в сарае, дополна набитым сеном, находил — будто сквозь стену видел. А этот... нет, он не отец». И вернулся в хату. Прихватил с собой кружку — ту, что отец мне из Пропойска привез. А «новый отец» по-прежнему как спал, так и спит. «Не проснулся — значит, и правда не мой. Был бы он моим отцом, разве бы спал вот так — мы же так долго не виделись...» — рассуждал я. Потом вышел из хаты.

Мать всегда, когда доила корову, открывала ворота настежь. Хлев был просторный. Там еще, отгороженный досками, стоял у стены жернов — ручная мельница отцовской работы. Многие соседи приходили к нам молоть зерно.

Подошел я к матери, спрашиваю:

— Где же, мамочка, все-таки мой первый батька? У этого даже и сапоги не такие — один черный резиновый, с дыркой на пятке, а другой — брезентовый какой-то, желтый, и голенище порванное...

— Как это — не батька? Вот подою корову, а он покуда поспит. Да не смей будить его, пока сам не проснется, — только ведь глаза смежил.

Мать взяла кружку, накинула сверху вдвое марлю. Тугая белая струя враз прогнула марлю в кружку. Корова косилась, крутила головой — пугала меня.

— Бери, пей. — Мать подала мне кружку с молоком. — Да не убегай из дому, а то сегодня весь день на тебя удержу нету.

— Так ведь и Нинки нет, и Женика...

— Они в Малиновку побежали — скажут нашим, что батька вернулся.

Мать додаивала корову. Я выпил молоко, посидел немного на заваulinке и вернулся в хату. И уже никуда не убегал — ожидал, когда же проснется мой батька.

...А потом, когда отец ушел в партизаны, как мы все ждали его!

Обычно наведывался он около полуночи. Сначала у него был обрез какой-то, а потом пришел с ручным пулеметом...

Я никак не мог уснуть. Ночь была темная, ветреная. Казалось, вот-вот густой страшный мрак выдавит окна, зазвенит стекло, и зыбкая осенняя стужа ворвется в хату. Я прячу голову под одеяло. Жена рядом со мной, но он спокойно спит, посапывая. Вдруг слышу, как ровно и знакомо звенит оконное стекло — снаружи кто-то стучит в него.

— Мама, таточка пришел! — радостно воскликнул я. — Слышишь, мама?!

— Тише, сыночек, тише... Может, это немцы, — шепчет мать, слезая с печи. Она осторожно приблизилась к окну, спросила: — Кто? — и чуть приподняла шторку.

Вместо ответа снова послышался тихий и такой же ритмично-спокойный стук в оконное стекло. И мать пошла отпирать дверь, встречать отца.

Я принялся будить Женю. Он проснулся сразу же, как только услышал, что пришел отец. Проснулась и Нина. Мы все притихли и ждали. И только Надя, меньшая наша сестричка, которая не умела еще радоваться вместе с нами, тихо спала в люльке.

Отец, как только вошел в хату, помог матери завесить одеялами окна, зажег на загнетке лучинку и потом уже подошел к кровати. Мы наперебой кинулись к нему.

— Как вы тут, дети мои? — и каждого из нас долго, по очереди, обнимал и целовал. — Ну, не шумите только...

На столе уже ожидали отца молоко и краюшка хлеба.

— Перекуси, Грасичка, а я тем временем соберу чего...

Посреди хаты стоял на ножках отцов пулемет, дулом направленный на дверь.

Я так же, как и Женя, высунулся из-под одеяла и издали разглядывал пулемет.

— Тата, а почему пулемет насторожился, как собака?

— Он всегда такой, — ответил нам отец.

— И кусается?

— Фрицев еще как кусает!

— И они дохнут?

— Как мухи на морозе.

— А пулемет бегаёт?

— Бывает, что и бегаёт, но редко.

О том, как «бегал» отцов пулемет, я узнал значительно позже — уже после войны.

Сидели партизаны в засаде — как раз неподалеку от Соколовского моста, где лес подступает к самому шоссе. Был там и мой отец с пулеметом. Показались немецкие грузовики. Два. Их и обстреляли. Разбили. А следом — целая колонна машин, и немцев полно. Начался бой. И вдруг отцов пулемет замолк. Немцы опомнились — наступать. Лезут напролом — много же их! И уж совсем близко подошли, а отец все молчит со своим пулеметом, не стреляет... Партизаны отступили. Вернулись в отряд, отец проверил пулемет — стреляет. «Что за черт!» — думает. И решил, что испорченный, сплюсненный патрон попал и заело затвор. А через день-другой снова пошли на задание. И снова пулемет неисправным оказался, отказал. Тут уж все серьезно забеспокоились, отец — тоже, так как даже командир, как ему вдруг показалось, стал глядеть на него подозрительно: когда надо стрелять, он молчит... Посмотрел пулемет оружейник Петрок Кучевей, стрельнул — все нормально, оружие исправное.

— А ты, Петрок, — говорит отец оружейнику, — попробуй с полдиска выпусти, побольше постреляй... Увидишь — закапризничает.

— Полдиска, говоришь? — подозрительно усмехнулся оружейник. — Собаке под хвост полдиска, да? — и доложил командиру, что пулемет исправный.

Командир, правда, не стал экономить патроны. Лег за пулемет и хотел

разрядить диск одной очередью, но ему это не удалось: пулемет замолк после нескольких выстрелов. Поднялся командир с земли и приказал оружейнику:

— Отремонтировать и доложить мне, ясно? Проверю сам! — и хотел уже идти, но тот начал оправдываться:

— Так ведь пулемет исправный! Все в нем на месте...

Командир достал из нагрудного кармана какую-то бумажонку, потряс ею перед носом Кучевей:

— Ясно, что надо делать? Отремонтировать как следует! И чтобы этих вот штук не было... Он тут же порвал надвое сложенный листок и ушел.

Тогда отец видит, что Петрок слабак в таком оружии, и сам взялся за пулемет. Пришлось заменить ствол, так как в прежнем был проржавленный патронник. Ствол он переставил из Кучеевского пулемета. Кучевей поначалу согласился, отдал ствол, а когда убедился, что его пулемет перестал стрелять, завертелся ужом...

* * *

Лозу мы привезли домой, когда уже хорошо стемнело. Умаялись здорово. Но и спалось же потом! Говорят, если видишь во сне, что собираешь монетки, то обязательно случится какая-нибудь неприятность, и горькая до слез. Такой сон, с монетками, мне как раз и снился. А кто, увидев перед собой серебряные монетки, не позарится на них, кто пройдет мимо? Я тоже клюнул на приманку — начал собирать и радоваться, никак не подозревая, что это все только сон.

В нашей хате часто демонстрировались фильмы. Киномеханик тоже у нас столовался. И вот, снилось мне, когда фильм окончился и хата опустела, я сначала увидел на полу одну монетку... А потом еще и еще — много монеток!

И я принялся их собирать...

Когда проснулся и рассказал матери о своем сне, она вдруг нахмурилась:

— Пусть этот твой сон, сыночек, на сухой лес идет... — И, немного помолчав, упавшим голосом дополнила: — Плохой сон... Монеты — всегда к слезам. Будешь плакать...

Не прошло и получаса, как прибежала к нам из Малиновки тетка Маруся и сказала, что умерла моя бабушка Донька...

БОБРОВНИКИ ПРИЕХАЛИ

Мы собирались в лес, вернее, на болотистое угодье, где отец пригладил хорошую траву. С этим покосом надо было спешить, управиться как можно скорее — ведь не одни мы знали о нем. Охотников, конечно, много

было, и каждый, можно сказать, ждал только, покуда болото подсохнет, а тем временем и трава подрастет, нальется соками. Заодно мы собрались нарвать на болоте петушков — снеди для кабана. Стебель этой травы длинный, листья округлые, пышные и сочно-мучнистые. Может быть, называют ее и не так, как у нас, а только в петушках этих, если верить матери, очень много крахмала. Трава полезная, выходит. И права все-таки мать: ведь недаром же кабан, когда ест, то аж захлебывается — аппетит что надо! Еще бы: добывать такое лакомство из змеиной трясины не так-то и легко...

Мать принесла из погребка вместительный дерюжный мешок, положила его на тачку и, подбоченясь, остановилась перед отцом — ожидала, покуда он наточит мотыгу. Я в это время был на сенах — ворошил полусухую лозовую кору, которой была устлана также и крыша сарая.

На улице, как раз возле нашей лавочки, под липами остановились женщины. Одна из них, Христинка, приблизившись к калитке, ведущей во двор, позвала:

— Ева-а! Чего ты там медлишь, пошли! Аль не готова еще?

— И не говори, кума... Мотыга затупилась, так пусть вот Граська подострит малость. Вы не дожидайтесь меня, идите, я догоню... Ой, это ж я совсем забыла — не вынула хлеб из печи! — вдруг спохватилась мать. И недовольно: — Задурилась тут с вами, копуны... Собираетесь полдня, никак не выберетесь!

— Сама же задержала — прицепилась с этой вот своей сапкой, спичило... Тебе-то что? Сапку в охапку — и пошла, а нам тянись с тачкой... — Отец недоуменно посмотрел на мать, спросил: — Ну, чего еще? Не стой. Видишь, бабы ждут, управляйся скорее! — Затем ко мне обратился. — Сынок, давай там закругляйся, — сказал, а сам, однако, все еще продолжал возиться с мотыгой, которую он почему-то всегда называет сапкой.

Женщины не уходили, дожидались матери. Там, где присутствует Христинка, там всегда весело. На этот раз Христинка высмеивала Ольгу Сдобчиху. Та, если, конечно, верить Христинке, забыла уже, когда сама пекла блины да оладьи. Все это делает ее муж, Алексей.

— Верьте мне, аль не верьте, но, ей-богу, не вру! — божится Христинка. — Ольга, когда проголодается, обвинит своего Лексёя и шепчет ему на ухо: «Лисеюшка, дал бы ты мне меду с блинами, слышишь? Лисеюшка, не мори меня голодом...»

А потом Христинка заговорила о какой-то машине. И вскоре я услышал приближающийся гул. Поравнявшись с нашей хатой, машина остановилась.

— Девки, не скажете, Граська дома? — кто-то весело и громко спросил у женщин.

— Дома! — резво ответила за всех Христинка. — И тише: — Пойдемте, бабоньки, Еву теперь не дождемся — гости какие-то приехали вот...

Отец насторожился и тоже не без интереса вслушивался в разговор.

— Чей-то знакомый голос, — заметил он. — Похоже, что Михальков приехал... — и тут же отложил мотыгу в сторону, поднялся и направился на улицу.

Тем временем машина, тихо урча, свернула с дороги и подрулила прямо к нашим воротам. В кузове, спиной к кабине, сидел человек, нагнувшись на лоб соломенную шляпу с помятыми полями. Незнакомый. Шофера мне не видно было, а Михалькова я узнал сразу, как только он подошел к калитке.

Я соскочил с крыши, забыв даже про лесенку, и мать, которая только что вернулась из хаты, прикрикнула:

— Одурел, что ли?! Маленький, машины не видал...

Михальков поздоровался со мною так же, как и с отцом — за руку.

Человек в соломенной шляпе приподнялся, стремительно дернулся вверх и вдруг застыл на месте. Ухватившись руками за поясицу, стал расправляться и ойкать. Шофер, закрывая кабину, пошутил:

— Кирилл Александрович, ложитесь на дорогу — перееду вдоль и выпрямлю...

— Эскулап! Дай хоть с людьми познакомиться, поговорить. — Малинин слез с машины.

— Не знал я, что ты, Александрович, не один... Не знал, что с радикулитом, а то не сел бы в кабину, — словно оправдываясь, говорил Михальков. — Не сел бы...

«Так вот ты какой, Малинин! Ну и рост!.. А шофер — маленький. Удивительно: Пат и Паташон!» — думал я, не сводя глаз с приезжих.

Познакомившись, отец показал на меня:

— Сын мой.

— И конечно, охотник? — спросил шутливо Малинин. И уже ко мне: — Стрелять умеешь?

— Умею.

— Не подходишь, значит... Стрелки мне не нужны. Я подбираю для своей экспедиции таких хлопцев, кто умеет ловить дичь... Не стрелять, а ловить здоровой, без единого дефекта... — Малинин наклонился и шепотком сказал мне на ухо: — Скорей в кузов, саквояжик подай!

Я стремглав метнулся в кузов машины, но что подать, не понял. И только потом, когда заметил на новом белом брезенте кожаный, наподобие небольшого чемоданчика, портфель, догадался, что это и есть саквояжик.

— У тебя один сын? — спрашивает Малинин у отца.

— Нет, это средний. Еще два сына, да и дочек полна печь... — смеясь, отвечает тот.

Малинин оглядывает отца: незаметно косит глаза на пустой левый рукав, смотрит на его изуродованное лицо, на латанные резиновые сапоги-отопки. Затем достает из саквояжика папиросы, и вот вся «братия», кроме меня, начинает курить. Шофер, который при знакомстве назвался Петькой, сразу же, как только закурил, забрался в огород и начал там лакомиться ягодами, которые у нас называют диким виноградом. Ягоды

вкусные, и Петька даже причмокивает — возбуждает аппетит у Малинина.

— Александрович, вот где вкусно, слышишь? Какие-то необыкновенные ягоды, сочные и сладкие — объеденье!

— Герасим, гони его из огорода дубцом! — смеется-шутит Малинин. — Оголит он твой виноградник, увидишь!

— А ты возьми, Александрович, хоть одну ягодку... Возьми! Не ягода — конфетка, во рту тает! — говорит Петька, нагибая очередную ветвь лозы.

— Барбарис? — интересуется Малинин и разглядывает листья лозы, трогает крупную гроздь пальцами.

— Может, и барбарис, а может быть, и нет, — говорит отец. — Только у нас эти ягоды зовут диким виноградом.

— Дикий виноград не такой, — неуверенно говорит Малинин и, отщипнув несколько ягод, кидает их в рот, пробует на вкус. — Все равно как ирга... Да, это ирга.

— Какая там ирга! Это просто виноград такой. И может, он совсем не дикий, а наш, белорусский виноград. Только мы его диким прозвали. Вино из этих ягод доброе...

Подошла как раз мать.

Михальков первым заметил ее.

— Вот приехали, Николаевна, к твоему хозяину, — сказал он, здороваясь.

— Неужто мой хозяин кому-то еще и понадобился?

Малинин так же, как и Петька, увлекся ягодами. Но как только услышал голос матери, отпустил ветку, подошел ближе и поздоровался с матерью, познакомился.

— Герасим, так ведь жене твоей и семнадцати не дашь... Ого, цыганочка, ого-о, царевна! — и смеется. — Ну и ну! Жена-молодуха и дети женихи-невесты!

«И шутник же этот Малинин», — заключаю я и почему-то — сам не зная почему — радуюсь, мне весело.

Усмехается и мать, но любезно-настороженно.

— Сынок, ступай принеси из хаты скамейку, пусть гости тут вот в тени сядут... Ой, заругает меня бригадир — на работу опаздываю!.. Так я побежала, Граська.

— Беги-беги, а мы тут мужа твоего увезем, — пошутил Малинин. И я подметил, как он время от времени потешно дергает носом и губами.

Принес скамейку. Стал ждать, когда Малинин сядет. Он обязательно, думалось мне, снимет свою шляпу, а я тем временем увижу: может, и волосы и уши так же, как нос и губы, у него дергаются? Мне казалось, что все это он делает, чтоб посмешить нас. «Вот ловкач. Ну настоящий артист!»

И правда, вскоре Малинин сел на скамейку. И шляпу даже снял, повесил на кол. Ну и шляпа же у него — вся иссечена дробью, особенно

макушка. Должно быть, прицельный был выстрел. Да, видать, и ружье било кучно или, может, кто совсем близко стрелял, когда он подкинул шляпу...

Сколько я ни наблюдал, а волосы у Малинина не шевельнулись даже, уши тоже не дергались. И я подумал, что у него все это, видимо, от контузии. Помню, отец рассказывал, что именно от контузии случается такое — тик...

Малинин притушил папиросу, сказал:

— Думаю, Герасим, что мы договоримся.

— Видишь, Граська, из самой Москвы за нашими бобрами приехали! — горделиво вставил Михальков, словно дорогу перебежал.

— Москве или Ленинграду пока еще рановато. А вот в Сибирь надо — для расселения. Там же отличные уголья, только и жить бобрам, — сказал Малинин.

— В Сибирь? — переспросил удивленно отец. — А каково им там зимой будет, бобрам нашим?

— К холоду они привычны, — пояснил Малинин.

— Если для расселения, то и правда — мудро. Но зверь-то этот хитрющий, навряд ли можно изловить его живьем, — сомневается отец.

— Ловили же... В Америке запросто это все: требуются живые — пожалуйста! Там у них бобров много. Неужто и мы не сможем развести столько, чтобы начать промысел? — Малинин обвел возбужденным взглядом присутствующих.

— Все можно, чего ж. У нас тут бобры есть. И в Проне, и в Соже, и в озерах... Дай боже сколько развелось! Но мало кто обращает на них внимание. Живут — и ладно, — говорит отец.

— Это же и хорошо, что живут, что их много тут. Вот вы теперь и беритесь за них — обдумывайте, как ловить будете, чем. Да так всё организуйте, чтоб за месяц сотню, а то и больше поставили мне на базу. Одним словом, на то вы и охотники. Нужен эффективный лов. Вот вы и мозжьте, как и что. — Малинин и серьезен, и усмехается.

Отец сосредоточенно чешет затылок. Внимательно слушает его — конечно же, ловит каждое слово. Это уж точно.

— Ну, положим, сотню — это слишком... — не удержался он. — Словить сотню бобров — такое, может быть, только в Москве и придумают...

— А в следующем году потребуется еще больше бобров. Так что думайте серьезно. Имейте в виду: все это в Совете Министров рассмотрено и принято решение... Нужны, значит, бобры.

— Живые? — почему-то снова переспросил отец.

— А за мертвого, дорогой мой, штраф в триста рублей буду давать! — воинственно сказал Малинин. — Бобры нужны только живые, здоровые.

— Понятно... И что, рублей десять за одного пойманного будет? — интересуется отец.

Михальков взрывается от смеха:

— А полсотни ты не хотел?! За червонец кто бы стал с ними возить-

ся! Разве что ты, из охотничьего интереса... — За взрослого бобра пятьдесят целковеньких! А за сеголетка — наполовину меньше. Только излови — тотчас же, как пройдет карантинный срок, и деньги на руки, — разъясняет Малинин, и снова его нос и губы начинают дергаться. Заикаясь, он дополняет: — С-сотню изловишь — пять т-тысяч у тебя в кармане! Ну, осилишь такое з-задание?

— Оно, конечно, деньги хорошие... Но как же его, черта, захватить, обхитрить? — рассуждает отец. — Его же, говорят, убитым и то не взять, а живым и подавно. — Отец задумывается — видимо, что-то сообщает. — Конечно, и живым можно, ежели у входов проволочные ловушки поставить. Да и следить надо в оба... Как зайдет в которую — так его тут же хоп из воды!

— Какие еще ловушки! Распорки в мешок вставил, да и лови, — говорит Михальков. — На кой ляд сдались проволочные ловушки? Мешком можно всех бобров переловить...

— Нет, Семен, мешком бобра не взять. А ежели и удастся, так он запросто может удрать — что ему стоит мешок прорвать!

— Значит, ловушка нужна, и чтобы проволочная? — сосредоточивается Малинин. — Вот и придумай, Андреевич, — впервые назвал отца по отчеству, — такую ловушку, проволочную! А мешком за сезон, конечно, одного какого можно поймать, да и тот при перевозке задохнется... Словом, бобров у нас хватает, только и ловить их!

— Ей-богу, рискну, займусь ловушкой... А не получится — что ж, встретились да и разойдемся, а? — оживленно проговорил мой отец — поверил, наверно, Малинину. Сам себе поверил!

— Так мы сейчас к Миките поедem — там, если надо, бобра через час и принесут, только распорядись, Александрович, — уверял Михальков. — Микита ловушку такую в два счета склепет. Он ведь гармонь смастерил, а уж ловушку и подавно сделает.

— Но ежели я и вправду бобрами займусь, то вам, видать, надо побеспокоиться, чтоб меня на месяц-два из колхоза отпустили. Самовольно я не могу. Должность сторожа потерять придется, ежели самовольно. — Отец, однако, глубоко смотрит: не думает оставлять работу.

— Сделай только ловушку — отпустят. Об этом уж я сам похлопочу. Малинин позвал меня и попросил, чтоб я принес воды. Отец услышал его просьбу.

— Погоди с водой, Александрович, березовик есть — холодненький, в самый раз, — предложил он Малинину.

— Так скорее давайте! Люблю березовик — чудо-напиток! — оживленно сказал Малинин.

Как раз возле погребка повстречался мне Петька. Он уже оставил «виноград», насытился. Я предложил ему березовика. Он охотно пошел со мной в погреб. Как же удивился, когда увидал у стены дубовую кадushку, а сверху, вместо крышки, густую бороду зелени. Раньше мы, как и многие другие, закрывали кадushку клеенкой или еще чем. Недавно только отец услышал где-то, что в бочку с березовиком надо сеять овес.

Зерна разбухают, всплывают наверх и прорастают, плотно закупоривая продушину бочки. Секрет всей этой премудрости, оказывается, в том, что березовик долгое время не портится и сохраняет все лечебные свойства. У нас тут считают, что березовик излечивает рак. Правда это или нет, но так думают люди, верят в лечебные свойства этого напитка. Но если даже это не так на самом деле, то березовик все равно полезен, он хорошо помогает в другом: уж хоть бы в том, что в жаркий день словно рукой снимает жажду, целительно воздействует на желудок, повышает аппетит... Этого всего, думается, достаточно, чтобы пить березовик, приятный к тому же на вкус.

Я запустил пальцы в край зелени и приподнял ее. Петька держал алюминиевый бидончик, а я черпал кружкой березовик из бочки. Последнюю подал Петьке. И он, не переводя дыхания, осушил ее до дна.

— Ух, здорово как! — отдышавшись, сказал Петька.

Вернувшись на двор, я поставил бидончик на край скамейки. Малинин, не торопясь и смакуя, пьет березовик, хвалит. И если верить ему, то он, выходит, никогда еще такого вкусного напитка не пробовал.

Петька, от нечего делать, стоял посреди двора и осматривал все его уголки, словно изучал наш быт. Заглянул даже в сарай и наконец нашел себе забаву: стал допекать собаку. Та сначала была неприветлива к нему, а после лениво начала отвечать на все его приставанья.

— Лапу! Слышишь, лохмач, лапу дай! — требовал Петька. — Герасим, как собаку звать?

— Пиратом.

— Пират, слышишь, лапу дай, говорю, ну! — не отступался Петька.

Пират хитрит — чужой все-таки забавляется с ним. Пробует спрятаться в будку, но Петька вовремя наступает сапогом на цепь. Наконец собака покоряется — дает лапу. Петька доволен. Нажимает пальцем на защелку, спускает собаку с привязи. Почуввав свободу, Пират тут же отскакивает в сторону и, поджав хвост, быстро пересекает двор, подползает в подворотню и исчезает.

— Не придет до вечера, — замечает отец.

Петька удивляется: думает, что Пират не придет только потому, чтоб не видеть его.

— Так он у вас, выходит, умник большой!

— Скорее дурень, — вставляет отец недовольно. — Покуда не обнюхает все мусорные ямы, не явится домой... Держу вот его на привязи, боюсь, чтоб не убили... Эх, когда-то имел я хороших собак, не чета этому. Да вот как-то порода та на убыль пошла. Волки разорвали Жучку — хорошая собачонка была. Щенки от нее тоже перевелись. Одного соседка мухоморами отравила. Припарку какую-то варила на сметане, средство лечебное от растяжения жил. Так вот Гапуля все это варево свое нам под забор вылила. Не куда-нибудь в яму да чтоб закопать, а нам под забор... Вот он как поел сметанки Гапулиной, так и сдал. Что мы ему ни делали — не отходили, пропал... Бекаса волк схватил. И последнего из Жучкиной породы, Патрона, зоотехник застрелил. Патрон был по-

нятливый, смекалистый и слушался меня. Быков любил со мной пасти, колхозных. Когда отобьется который, так он тут же бежит заворачивать. Догонит — да за ноги его! И сам — брык, прижмется к земле. А бык ногой — тах! Мимо... Ого, ежели б Патрон теперь был у меня, так мы бы и горя не знали — все бобы были бы наши! А Пират — неудачливый. От лени он еле ходит — ветер шатает.

Петька подался на улицу — наверно, посмотреть, куда побежит Пират. Он еще и калитку не закрыл, как вдруг рванулся вперед и закричал:

— Стой! Стой!

И мы все подумали, что этак он на Пирата кричит.

— Ну, нашел себе занятие! Ему только бы делать что-нибудь — вот уж натура, — смеется Малинин.

— Не убежишь, сорванец, догоню! — слышится с улицы. — Стой!

— Э, не-ет, это не на Пирата, — насторожился отец и поспешил на улицу.

Я — следом за ним. Потом уже и Малинин с Михальковым присоединились к нам. Увидели мы такую картину: Петька догоняет Лодика Медюху — охотника до всего, что плохо лежит. Правда, на этот раз нельзя сказать, что машина стояла не так, как требуется, и не там... Интересно, что украл Лодик? Не зря ведь Петька кинулся его догонять.

Лодик, как только миновал магазин, круто повернул влево и помчался степкой, что вела к колодцу, который когда-то выкопал еще мой дед Андрей. Там, как раз на луговине, и была у него пасека.

Лодик боялся попасться в руки чужому человеку и потому, напрягая все свои силы, несяся здорово. Петька, хоть и коротышка и даже с небольшим животиком, не отставал. Наоборот, он набирал разгон... Еще немного — и Лодик скрылся бы в кустарнике, а там, может, сумел бы спрятаться, обхитрить Петьку. Но как раз возле колодца поскользнулся и, перекувырнувшись через голову, растянулся вдоль стежки. Правда, тотчас же вскочил на ноги, но прежней прыти уже не успел набрать — Петька схватил его за воротник и резко дернул к себе. Лодик сразу же покорился, притих. Петька учинил обыск. Из-за пазухи Лодик что-то достал и бросил перед собой. Петька поднял сверток и, не отпуская, попробовал вести с собою Лодика. Тот стал упираться, а потом и вовсе лег на землю.

— Чей это такой шустрый, тюрьму себе ищет? — спрашивает Малинин у отца.

— Одного тут... Сын, знаете, в батьку удался. Правда, время иное — люди добрые отучат воровать, дурость выгонят. А вот в прежние времена так ему бы, как и батьке, обрубали бы пальцы на ногах...

— Серьезно? — удивляется Малинин. — Пальцы обрубали?

— Топориком! Поймали в кладовой — сало крал — и обрубали, чтоб неповадно было на чужое добро зариться.

Малинин смеется:

— От Петьки трудно убежать — любого догонит. Тут уж он знает, что к чему... Даже, видите ли, лев боится, что и ему коготки обстригут, хитрит, значит...

Петька не стал учинять самосуд, отпустил Лодика. Тот вскочил с земли и, пригнувшись, задал стрекача.

— От людей бежит, — говорит отец.

— Как волчонок, значит. Человек-волчонок! А вырастет — поумнеет и вряд ли вспомнит, как мы тут его перевоспитывали, — смеется Малинин.

Петька нес сумочку с набором ключей от машины. Лицо было красное у него, потное.

— Отпустил, жалко стало сопляка — малый, дурной... Родителям надо будет сказать, что их сын ворует, — пусть отучают.

— Ты не слышал: родители у него, оказывается, сами такими были... — И Малинин пересказал Петьке беседу с отцом.

...Потом они уехали.

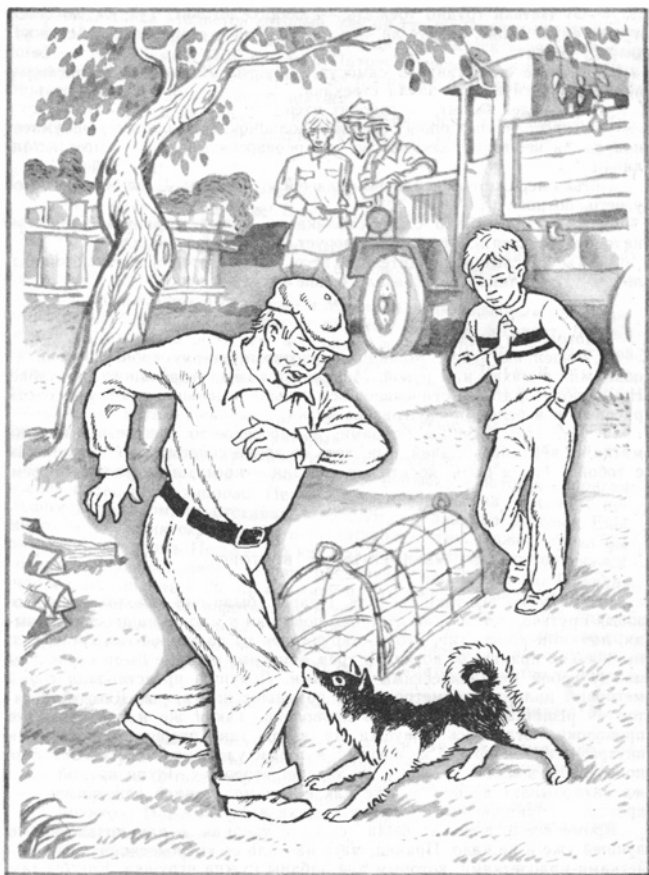
Я глядел им вслед. Малинин, приоткрыв дверцу кабины, стоял на подножке и махал нам рукой. Михальков сидел, сгорбившись, в кузове. Номер полуторатонки становился все меньше и меньше, а потом и совсем расплылся в белое продолговатое пятно.

— Ну, что?.. Бобры бобрами, а поросенок-то голодный... Покуда matka не вернулась, давай, сын, хоть со двора сойдем, а то попадет нам с тобой... Так и быть, косить уж сегодня некогда, а петушков нарвем.

«ЭКСПЕРТЫ» В ВОСТОРГЕ

Ловушку мы все-таки сделали. Правда, была она наполовину из лозовых прутьев, потому как нужной проволоки у нас не нашлось. Медными, ломкими кончиками, что пооткручивали из давно забытого матраца, мы кое-как привязали лозины к трем обручам, которые были скреплены между собой металлическими прутьями. Ловушка представляла собой метровый цилиндр диаметром чуть меньше полуметра. Дно ее сетчатое — решетка, сплетенная из проволоки. Такая же и дверца — из проволоки. Ставилась ловушка на взвод так: дверцу продавливали внутрь, цепляли краем за крючок, который удерживает ее до тех пор, пока зверь, войдя в ловушку, не заденет сторожок. Тугая пружина тут же захлопывает дверцу, и уже как ее ни надавливай изнутри, не откроешь — приваренные к обручу крючки надежные.

Кроме всего, ловушка была легкая и удобная, и нам казалось, что лучшей уже и не надо. Правда, мать назвала ее «куролесницей», а нас — детками-малолетками, которым для забавы нужна игрушка. Как бы там



ни было, но мы с нетерпением ждали Малинина. И тот, как только узнал, что ловушка готова, тотчас же собрал всех бобровников и привез их к нам. Съехались «эксперты», чтобы утвердить или же забраковать наше немудреное изобретение. Конечно, дядька Никита, Демид, Моргун с Михальковым — они самые главные и, что можно было заключить по их особенной заинтересованности нашей ловушкой, принципиальные «эксперты». Но, кажется, никто из них и не предполагал, чтоб однорукий отец мой за каких-либо три-четыре дня смастерил такую ловушку, да притом еще, как заметил Петька, универсальную...

Вскоре Петька решил проверить систему автоспуска и принялся заманивать в ловушку Пирата. Он положил между обручей, как раз за сторожком, котлетку, которую достал откуда-то из-под сиденья в кабине, и стал показывать приманку собаке. Но на такую любезность Пират не «клянуул». И тогда Петька попробовал силой затолкать Пирата в ловушку, но тот вдруг хватил Петьку за штанину. В испуге Петька отскочил в сторону, а Пират, оглядываясь, спрятался в конуру.

В том, что ловушка совсем простая по конструкции, но вполне надежная, «эксперты» уже убедились, потому и молчали. Отец не зря, выходит, демонстрировал достоинства ловушки. В этом ему, чем мог, помогал Петька. Он восторженно желал нашему первенцу долгой жизни и славы. Он даже сравнивал ловушку со своей полуторатонкой. Получалось, что ловушка эта — как и его машина, обе они просты и надежны.

— Машина моя всю войну прошла, а служит еще. Послужит, значит, и ловушка ваша, — заключил он авторитетно.

Малинин, улыбаясь, заметил:

— Покуда ты сам будешь в «Зооцентре», до тех пор и машине твоей быть. Увидишь: уволишься — и ее спишем в утиль.

Настороженная ловушка все еще лежит посреди двора. Дядька Никита подходит к ней, садится на корточки и долго разглядывает ее.

— Слушай, Граська, а коли вот эту козюльку заменить проволоочной петелькой?.. — и начал что-то чертить на земле спичкой. Начертил, поднялся, взглянул на Малинина.

— А что — вроде бы проще... — Малинин улыбается. — Андреевич, это предложение принимаешь?

— Куда же мне деваться, ежели старший брат дополняет, — шутит отец. — Принимаю, конечно!

— Понимаете, мне кажется, что для того чтоб бобр смелее шел в ловушку, надо будет дно ее сделать слюдяное... — начал неторопливо Демид. Он держал в руках очки и старательно вытирал стекла носовым платком. — Кстати, и слюда у меня есть, как раз на две ловушки хватит.

— Можно и слюду, конечно. Бобры не так носы разбивать будут, да и сквозь воду не видно, что это такое, — в такую ловушку охотнее пойдут, чем в нашу... Но из проволоки тоже дно неплохое: вскочит бобр в ловушку, вцепится резцами в плетенку — давай чесать... Побушует, да и успокоится. А слюду, если плохо сделать, не укрепить, то и выбьет, а тогда — лови...

— Только бы вскочил, а там и пересадить можно в ящик, — не соглашается Демид.

— Все, конечно, можно. Да где ж это слюды наберешься? И вот еще что. Думаю, что при быстром течении ловушку с таким дном сносить будет, ее трудно будет поставить правильно, — посмотришь, Исакович. Разве что в слюде дырок наделать, чтоб решетом было... — вслух размышляет отец.

— Сбивать? С чего бы это сбивать? Скажешь, как свяжешь. Ловушка ведь под водой. Ну какая там быстрина, под водой?

— Убедишься после, ежели не веришь теперь... Делай, Исакович, делай из слюды — твоя воля!

Вскоре «эксперты» приняли все-таки решение: дядька Никита в течение недели освоит серийный выпуск нашей ловушки, потому что каждой бригаде необходимо иметь не меньше десяти таких ловушек.

ОТЛОВ НАЧАЛСЯ

Малинин даже повеселел — он не сомневался в успехе и потому спешил подготовить базу. Из Москвы как раз прибыл вагон с деревянными рейками, фанерой и жестью для стационарных клеток; было в вагоне и несколько мешков белых сухариков, а также и отрубей (сухарики — для бобров-сеголеток, а отруби предполагалось давать вперемешку с вербовым листом взрослым бобрам), было в вагоне несколько пар резиновых сапог, фонари, брезент и даже палатки.

Как делать клетки для стационарного содержания бобров, Малинин знал — видел все это на Воронежской звероферме. И дядька Никита за каких-нибудь три дня набивал клетку на целую партию бобров (количество бобров для первой партии, запланированной в Сибирь, было невелико — 36 зверьков. Это значит, как раз на пульман, где помещалось восемнадцать клеток).

Малинин заранее все предусмотрел, даже начальство на железнодорожной станции предупредил, чтобы потом, когда нужно будет, не задерживали, а тотчас же по его звонку выделили чистый крытый пульман. Все было подготовлено как следует. А еще Малинин аван охотникам выдал, хотя каждый и сомневался в своем «охотничьем счастье», потому даровые деньги принимал с подозрительной осторожностью. Мы тоже взяли аванс. Мать, правда, воздержалась тратить привезенные нами деньги, чтоб после, если нас постигнет неудача, можно было возвратить их Малинину.

Как бы там ни было, а бобровый лов начался в назначенное время — с 15 июля. Восемь человек, считая вместе со мной, объединились в четыре боброловецкие бригады: по два охотника в бригаде.

Кроме нас, все бобровы жили на Соже; у них были свои лодки,

им было легче, чем нам. А возле нашей деревни — ни Сожа, ни Прони, ни бобровых озер. Всё это в лугах, в пяти, а то и больше километрах... Но мы не унывали. Захватив пока еще одну-единственную нашу ловушку, направились мы в первый день на Глупку — там, на болоте, жили бобры.

Дорогой тешили себя надеждой найти бобра сразу же, как только придем — с первого, так сказать, захода. Но скоро поняли, что не так-то просто дается бобр живым. В первый день мы, признаться, даже и не увидели зверя. Чудаки: уверяли мать, что обязательно принесем бобра...

На другой день взяли с собой Пирата. И нами снова овладела надежда: думали, что Пират все сделает за нас — и обнаружит бобра, и выгонит его из норы, и покажет, куда прячется... Где там! Пират, как только мы подошли к бобровому жилищу и закинули ловушку на ход, вообразил что-то свое, как-то по-своему понял наши намерения. А потому тотчас же поспешил разочаровать нас — умчался прочь от канавы. Этого мы, конечно, не ожидали от него. Все же Петька, по-видимому, напугал собаку, когда силком пробовал загнать в ловушку. Да, Пират боялся ловушки. И сколько отец ни звал, ни кликал его, как ни поощрял, но все было напрасно — Пират и близко не подходил к нам. И отец вынужден был сам гнать бобра: взобрался на верх бобриной хатки, затопал сапогами. Пират, правда, подбежал было, даже загавкал.

Отец обрадовался, начал подбадривать собаку:

— Тут! Тут!.. Бери, Пират, ну!

Но радость его была преждевременной — в пролом, что зиял с одной стороны хатки, Пират не отважился лезть, побоялся. Он снова отбежал от хатки, но уже подальше — стоял на стежке, что вела в сторону леса.

Вдруг я услышал тихий всплеск под хаткой. Около поваленной на воду ольхи, как раз у самой коряги, начиналась тонюсенькая цепочка серебристых пузырьков — там-то, оказывается, и булькало. Я затих, впился глазами в то место, где ходила вода, где возникали и беззвучно лопались мелкие пузырьки. Я ждал, что же будет дальше. А отец не переставал «воевать» на хатке. Он уже пробрался к бобровому логову и снова кликал Пирата, но того и след простыл — умчал домой.

Я следил за пузырьками. Они, образуя извилистую цепочку, вели мой взгляд из-под ольхи к ловушке. У меня дыхание захватило; засуетился — хотел предупредить отца.

— Тата! Вот он, тут! К ловушке подплыл!

— Не бубни — испугаешь бобра! — шепотом сказал отец.

Возле ловушки взвихрилась вода, пенясь, взбаламутилась черная мглистая муть; начали всплывать наверх ольховые листья и прутья.

— Попался! — крикнул я и бросился доставать ловушку. Да что это? Она легонько стронулась с места... Пустая!

— Эх, удрал, шельмец! — разочарованно воскликнул отец, который готов был уже мне помочь. — Поспешил ты, не дал ему войти... Гляди-ка, пузыри вдоль канавы бегут, — и он подхватил ловушку. — Бежим наперерез!

Канаву перекрыли. Однако бобр не подплыл и близко к нам. И на воде не видно было уже извилистой бисерной дорожки.

— Не иначе притаился где-то, не пошел канавой, — догадался отец.

Проверили канаву за хаткой — убедились, что там бобру негде спрятаться. Но где-то же он затаился... А может, и в нору куда-нибудь забрался. А вот в какую — надо поискать.

Вскоре мы поняли, что левый берег канавы чуть не висит — он весь в норах; каждая из них соединяется одна с другой отборками разных размеров, причем все эти отборки заполнены водой. Попад в одну из таких нор, бобр, конечно, постарался забраться в такое местечко, где и воздуху вдоволь и проломов поблизости нет.

И все же мы вскоре подобрали «ключи» к бобровым подземным ходам. Постепенно, хотя и не без труда, выискивали всё новые и новые «катакомбы». Ходы от них были обязательно выведены на сухое место: либо в кочку какую-нибудь, либо куда-нибудь под корневище ольхи. Попадались кое-где и верхние лежбища. Низ их тоже, как и в хатке, услан лозовыми стружками, а верх для большей прочности закреплен еще и торфянистым илом. Укрытия эти мы не разоряли — считали, что бобр не раз еще, если придет надобность спастись, попробует в них спрятаться. Пусть только так сделает, и нам уже будет легче его найти, зная хитросплетения ходов.

Зверь и вправду, как только мы его обнаруживали, спешил убраться куда-нибудь подальше. И всегда, как ни удивительно, он быстро находил свои запасные ходы, еще неизвестные нам. Но с течением времени таких ходов оставалось все меньше и меньше, и мы чаще начали обнаруживать бобра. В каждый только что обнаруженный ход мы втыкали в продушинах ветки, которые, когда проходил бобр по ходу, качались, а вода не успокаивалась до тех пор, покуда бобр не забирался в свой тайник. То, что норы до конца залиты, нам как раз было на руку — зверь не мог долго задерживаться в воде и потому обязательно выходил на сухое, чтоб подышать воздухом...

Наконец мы загнали бобра в тупик. Поставили на ход ловушку, замаскировали травой. Отец решил срубить длинную хворостину, чтоб затем запустить ее в нору — загнать бобра в ловушку.

Солнце в зените. Тень короткая — полдень. Гляжу на отца — упарился старик, гимнастерка на плечах взмокла. Вот принес он хворостину, бросил как раз над продушиной и, воткнув топор топорием вверх — это чтоб не потерять и в нужный момент быстро найти, — сказал:

— Придется тебе, сынок, домой бежать... Проголодался я что-то, даже в глазах темно от махорки да от болотной воды.

— Не поевши отправились... — укоряю отца. — Надо в следующий раз хорошо завтракать и обед с собой брать.

— Нет уж, хлопчик. Ранняя птичка, говорят, клювик протирает, а поздняя — глазки продирает... И так обмшурились мы и сегодня можем

с пустыми руками домой вернуться... А вот ежели бы пораньше поднялись, вышли на зорьке, то бобр этот давно бы уже наш был!

Что ж, побегу за обедом. Я должен управиться как можно скорее. Мешкать никак нельзя — очень уж хочется поймать бобра. И притом чтобы я тоже видел, чтоб не пропустить такой случай...

Домой и вправду стыдно появляться без бобра — мать, как только узнает, что мы ни с чем вернулись, конечно, не обрадуется.

Так оно и было: встретила она меня не ахти как весело и приветливо. Надо же, я при ней почему-то и не заикался об обеде, а сама она не догадывалась. Она явно была не в настроении. Она готова сейчас же вернуть Малинину аванс. И считала, что так все оно и будет.

— Дома дров полена нету, — ворчит мать. — Сена хотя бы маленькую ношу из болота принесли. Присмотрели ведь, берегли, а люди выкосили... Ох уж эти бобры! Я вам покажу бобров! — грозилась она. — Будто мне одной хозяйство надо: и корова, и поросенок, и все...

Обычно мать сердится не долго. На этот же раз она разошлась не на шутку. И я в конце концов понял одно: надо поскорее сматываться из дому, иначе если мать дознается, зачем я пришел, то вообще может не пустить меня к отцу. Она все еще не понимала, почему это я один вернулся. Пират прибежал пораньше, чем я, — значит, все мы тут, окончена наша охота.

Мать ушла по воду. Я, признаться, обрадовался — обед сам возьму, найду что-нибудь. Хорошо, что ее не будет в это время в хате.

Как раз вернулся из лесу Надя и Коля — принесли земляники. Коля подступился ко мне. Он хотел знать, как там у нас: скоро бобра поймает или нет? И я сказал:

— Обед надо. Тата ждет. А бобр к вечеру будет!

Узелок с обедом был наконец собран. Чтобы не встретиться с матерью, я решил идти по загуменью, а заодно и огурцов поискал на грядках, хоть такое своеволие строго-настрога возбранялось — огурцы ведь еще, если верить матери, только-только набирали силу. И все же я кое-что нашел, и котомочка моя приятно потяжелела.

Как только спустился я с обрывистой лесной гряды на луг и, миновав густой кустарник, выбился на стежку, что вела в Пенькомочу, где некогда мочили коноплю, меня встретила отцова записка, всунутая в расщелину вехи, поставленной как раз посреди стежки, — это чтобы я не прошел мимо, чтоб обязательно заметил записку. Остановился, прочитал: «Ищи меня, Сашка, тут».

Я сразу же окликнул отца, и он отозвался — был совсем недалеко от стежки. Выходит, бобр ушел с того места, откуда я направился домой.

— Давай сюда. Скорей! — позвал отец.

Нет, он и не думал сейчас обедать — торопил меня для другого: некому было следить за ловушкой.

И вот я у канавы. Внимательно гляжу с берега на ловушку, а отец проламывает нору. И надо же, угодил как раз над бобром! Зверь забе-

спокоился в норе — наверно, даже напугался. Вдруг ловушка резко подалась на середину канавы. Теперь мне ее никак не достать. И я прыгнул в воду, ухватился за ловушку обеими руками. Бобр оказался шустрым — успел уже перевернуться и пробовал выйти из ловушки так же, как и вошел. Но автоспуск закрыл дверцу, а пружина плотно прижала ее к крюкам. Конечно, бобр мог бы удрать. Правда, для этого ему нужно приподнять дверцу вверх. Но в такой момент, думаю, не всякий бы и человек догадался это сделать... Я стоял по грудь в воде, еле удерживая ловушку. Подбежал отец... И вот ловушка с бобром на берегу. И тут же началось то, чего мы и боялись — зверь легко разрушал нашу плетенку: как только вцепится резцами в лозовый прутик, так и перекусывает его. Надо было спасать ловушку. Батка отломал березовый прутик и легонько стегнул бобра по морде. Зверь, правда, успокоился было, но погода с еще большим азартом принялся терзать ловушку. Теперь уже я следил за бобром — стегал прутком по его воинственной и очень уж потешной, настырной мордашке. Он, как дитя, зажимурился, отворачивался от меня и затихал, но всего на какую-нибудь минуту...

Отец обедал: ел землянику с хлебом, запивал молоком и все не переставал удивляться:

— Зачем это matka столько огурцов нарвала? Они ведь зеленухи еще, только-только расти начали...

Я молчал. Как быть? Не признаваться про огурцы да и вообще про все, что наговорила мать? Но все же потом, когда отец закончил обед, сказал, что огурцов я сам нарвал и уж мать пусть лучше не знает об этом. Только как могла мать не знать? Она обязательно увидит, что огурцы сорваны, каждую завязь она помнит.

Отец все равно как знал, что я дома не пообедал — о чем я и сам вспомнил только теперь, когда вернулся на луг, — предложил:

— Давай-ка и ты перекуси... Да подадимся на шоссе, чтобы засветло в Чериков добраться.

Несли бобра вдвоем, нацепив ловушку на пружинистую лозовую жердку. Отец шел впереди, я — следом и по-прежнему следил за бобром, не позволял ему портить снасть. После, когда бобр чуть не сорвал дверцу с крюков, мы остановились и прикрутили ее лыковой заверткой.

Покуда добирались до шоссе, солнце село за лес. А потом и вечер наступил. На Чериков — ни одной машины.

Монотонно гудят телефонные провода. Им вторят комары. Правда, разногласят — кто как вытянет. Комары не дают жизни — лезут назойливо в уши, в нос, в глаза...

Отец закурил. Комарные атаки немного ослабели. В скором времени мы разожгли небольшой огонек. А бобр не утихает — колошматит нашу ловушку изо всех сил. Щепки так и летят от нее! Отец, сгорбившись, сидит над ловушкой — следит, чтоб бобр не убежал. Очень уж сильно жаждал зверек свободы. Наверно, не надеялся уже, не представлял себе, что такая свобода наступит для него (счастливый бобр!) и что вместо болотной канавы он попадет в богатую сибирскую реку...



Всю ночь так и просидели на обочине шоссе. И только утром попали в Чериков на попутной трехтонке.

Наш бобр оказался не первый на базе — пятый. Трех поймал дядька Никита и одного — Демид.

Малинин радовался нашей удаче не меньше нас самих. Но и поругал он нас, когда увидал, что бобра мы ничем не укрывали и он «пекся» на солнце.

— Перегрев, чтоб вы знали, дорогие мои, для бобра — смерть, — укорял Малинин. — Знайте же, как только бобра поймали, так и накрывайте его. Он тогда спокойно себя ведет, не бьется в ловушке.

Быстро нашего бобра пересадили в стационарную клетку, налили в поилку воды, закрыли клетку на защелку. К скобе, на которой держалась защелка, Малинин привязал фанерную бирку с надписью: «Речной бобр, бурый, самец, отловлен бригадой Герасима...»

* * *

Чем-то приглянулись они друг другу: Малинин — отцу, отец — Малинину. Они даже сговорились и бобров ловить и базой руководить совместно, заодно. Отца видели всегда с Малининым, а Малинина — с отцом. За какие-нибудь два дня недавно основанная база в хлевушке на окраине Черикова превратилась в большой двор, обнесенный проволочной сеткой. Мы принялись собирать из заготовок, привезенных из Москвы, клетки, а Малинин куда-то уехал — по-видимому, за бобрами к Михалькову.

Под вечер на дворе стояло больше десяти клеток. Четыре из них мы забираем с собой — завтра на рассвете отправляемся в дорогу. Это решение отец принял вместе с Малининым еще вчера.

Как только Малинин с Петькой вернулись от Михалькова, который ловит с Моргуном, — привезли двух бобров, — мы засобирались в путь. Однако Малинин не отпустил нас, покуда не пересадили привезенных бобров в клетки. В этот же день как раз приехал из Москвы научный сотрудник Володя Братченко. И уже за каких-нибудь два-три часа этот самый Володя стал душой базы, ее хозяином. Он все умел: и бобра брать в руки, и знал, какой лозой его кормить... А чего не знал, то, наверно, придумывал сам, испытывал. Его выдумка, конечно, и то, что бобрам лучше давать для питья речную воду, а не колодезную, так как речная вода богаче витаминами.

Выбрались из Черикова вместе с Малининым. Петька газова! на полную «железку» — спешил скорее приехать в Ходоров, чтоб, как он сказал, напиться березовичка.

По дороге из Черикова заехали в Баков, к дядьке Никите, — надо было забрать ловушки, которые выбрал Малинин для себя, а это значит, и для нас. Попали мы прямо на уху: как будто знали, что дядька наловил рыбы. Мне кажется, я впервые ел такую вкусную уху. Все говорили:

тройная! А я никак не мог сообразить, почему это уха тройная? Но все равно, что и тройная — вкусная оказалась уха!

Разговорились.

Дядька Никита начал хвалить свою сучку. И правда, она еще совсем молодая, а уже хорошо гонит зайца, лису и, главное, чует бобра на любой глубине. Мне же самым удивительным было то, что Мирта умела усмехаться — как человек! Ее усмешка была всегда ласковая, добрая, чарующая и какая-то мудрая.

— Мирта моя, оказывается, спец великий: когда найдет нору с бобрами, станет как вкопанная, и уж ее не сдвинешь. А отпустишь ее, так мигом бросится в нору. И тогда уж обязательно вытурит бобра. — Дядька местами черный от загара. Загорели только лицо и шея, да руки еще. — Это ж мы недавно — может, дней пять тому, как дознались, что Мирта так хорошо идет на бобра, — захватили ее в норы. Взяли потом на привязь, стали водить берегом — пошло дело. А то носилась себе, выпугивала бобров, а мы удивлялись, кто это впереди нас плутовал так, что те норы, где должны быть бобры, пустые и раскопанные. А это она, Мирта, распугивала...

Разговор про Мирту заинтересовал и отца и Малинина.

— Петька напугал моего Пирата, так теперь он и не подходит даже ко мне, когда увидит меня с ловушкой, — говорит отец. — Только мы закинем ловушку на ход, а он, паршивец, такого чесу дает, аж земля дрожит! Убегает домой...

— Ну, это не собака, конечно, — осуждающе говорит дядька с довольным видом и прибавляет: — Моя же Мирта так готова день и ночь пропадать в лугах. Ого! На лисицу раз наткнулась, так через день только домой объявилась. Идет, еле ноги волочит — устала так. Попробуй столько обколеси! А Пират ваш хоть и курляндец, а пустоват.

— Он неплохой пес, — застывает Петька. — Понятливый, если запомнил ловушку. К нему просто другой подход нужен...

— Искать буду толковую собаку. Без собаки — не ловля бобров, а огорчение одно, — задумчиво заключил отец.

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

Мать заждалась нас — целых три дня не были дома. Она строго всматривается на Малинина, но молчит, сдерживая свой гнев в душе. Я одно и знаю — уже другой раз иду в погреб за березовиком. Малинин и не думает укладываться спать — сыплет шутками-прибаутками, словно из короба бездонного, наверно, для того, чтоб разогнать заботу и немилость матери. И она невольно втягивается в разговор, все чаще и чаще начинает улыбаться, голос ее становится звонче.

— Люди вот сена себе понакосили, а наша коровка, как неприкаян-

ная, голодать будет... Ой, что себе думаешь, Грасичка, что думаешь? — укоризненно смотрит на отца. Ее, как видно, ни на минуту не покидают думы и заботы о хозяйстве. Она никак не может согласиться с тем, что завтра на рассвете мы с отцом уедем из дому и, может, даже на целый месяц. — И дитенка вот забираешь, а ему бы, как и другим детям, отдохнуть надо после школы...

— Пусть привыкает к зверям, — вмешивается в беседу Малинин. — Окончит семилетку, и я его устрою в наш зоотехникум, на зверовода.

— Нет, он десятилетку будет кончать!.. Не сбивайте мне дитенка!

Мать на моей стороне, да и как это она отпустит меня в Москву? Об этом и речи не могло быть. А предложение Малинина просто-таки напугало ее. Этак вот и заберет сына, сделает из него такого же, как и сам, бездельника... Мыкается человек по свету, от семьи отбился и других с толку сбивает... Бобры ему понадобились, лиха ему всякого надо! Что себе думает человек, что думает? А ученый же, небось умный-разумный, да вот носится в потертых портках...

Малинин перехватил ее взгляд.

— Что, Николаевна, глядишь на мои коленки? Носится-дерется да новое берется. Завтра мы в такие робы оденемся — не узнаешь!

— Может, оставили бы тут свои шмотки, так я полатаю их да выстираю.

— Кто же это летом дырки в штанах зашивает? Пусть ветер гуляет, где ему хочется. А мыть — на реке сами управимся. — Малинин подмигнул мне: — Правильно я говорю? — И заметил: — Петька и впрямь что йог: не успел улечся — и уж храпит.

— И вам постель готова, — промолвила мать.

— На сеновале разве? — Малинин смотрит на нее и смеется. — На меня-то, надеюсь, хватит сена, Николаевна?

— Там каких-нибудь две охапки и есть — под голову только и хватит.

— Ничего, Николаевна. Будет и сено, все будет!

— Боже-боже, как же без сена зимовать? — Это уже отцу укор. — И что ты себе, Граська, думаешь?

— А что мне думать? Вот окончу отлов, получу деньги, да и сена воза три куплю. Что ж тут думать, а? И прошу, не хнычь ты уж так: сено мое, сено!.. И не кивай на людей. Без сена и мы не будем!

— Николаевна, и сена и даже муки на блины будет достаточно. Вальцовочку привезем. Вот увидишь тогда. Всего добыю для своих ловцов, только бы пошло дело. — Малинин поднял полную рюмку. — Слыхал я тут у вас, Николаевна, присловье такое: все бобры добры, одна выдра лихая. Так выпьем же за то, чтоб и выдры все тоже были добры! — И выпил. Закусил немножко, выждал, куда отец и мать выпьют, повел рассказ про свою жену. — А моя-то, думаете, мирно-спокойно меня отпустила? Полгода скося глядела, куда я не уехал... Подрались даже при отъезде: она меня за чуб, а я — ее... Такое оно житье: тут и заботы, и тревоги, неприязнь, и ревность дурацкая — все тут свилось в

один клубок так, что и не распутаешь его. Где ж это — ого! — кто жил, чтоб все хорошо было? А вот приедем с речки, помоемся в бане, попьем чайку — и радости! Так что, Николаевна, будем мириться?

— А мы же и не ругались...

Малинин начинал нравиться матери. Говорил он как раз о том, что и ее тревожило и волновало. Вдумчивый и, наверно, практичный человек этот Малинин. А что стал охотником, так он, может, и не по своей воле — послали. Мать рассказывала ему, как Граська ее раньше и не думал про охоту.

— ...А пришел с войны калекой, купил ружье да и повадился ходить в лес, пропадает там целый денечек. Оно, может, и хорошо, что пристратился к охоте: хоть поокреп малость после ранения. А то, знаете, тут у нас уже говорили, что у него, когда он курит, дым из левого боку идет... Чего только люди не придумают!.. Уж и вправду, на чужой роток не накинешь платок...

— А что? Чистый воздух много значит. День по лесу ходишь, а про еду и не вспоминаешь — лишь бы курить было что. — Отец подымается из-за стола, надевает суконный пиджак, сшитый из перекрашенной шинели, надевает шапку. — Так и быть, пойду сегодня еще отбуду, а там — трава не расти, в отпуск!

Мать принесла жбанчик молока, поставила на стол.

— Ну вот, опять задымили... — недовольно заметила она. — А ты, Граська, хоть бы поменьше папироску делал, а то как чурбан она у тебя! И так уж глотаешь горечь эту, так глотаешь — мало все с тебя, как будто не накурился за свой век... Выпили бы вот лучше сыродою¹ холодненького, дыма. — Мать уселась возле отца, как раз у окна. — Чего ж это вы окно размахнули настееж? Комарье налетит — спать не даст, — и тут же закрыла окно. — Граська, — вдруг спохватилась она, — скоро ж нам коров пасти...

— Вот так скоро — через две недели.

— Тебя не будет, а мне как тут?..

— Хорошо, я завтра Вальку Мишурову попрошу — она поможет. А нет — сам тогда подъеду.

— Ну, ежели Вальку, то я спокойна буду — она не откажет. — И потом призналась: — Валька для меня все равно что и родное дитя. Скоро вот замуж выйдет — дал бы ей бог счастье... Это ж никогда я не забуду тот день, когда немец отступал, никогда... Нагоревалась и я и мои помощницы — Валька и Нина... Досталось нам тогда...

— Да-а, было тут и без меня, — говорит отец Малинину. — Это ж немцы отступали, а нам как раз выпало коров пасти.

— А еще надо было полоску вспахать, жито посеять...

— Ага, правда. Пришел я тогда, — начал вспоминать отец, — ступил во двор, вижу: Ева моя с плужком возится, правит в нем что-то... Шел я огородами — опасался, чтоб, упаси бог, не увидел меня тот, кто доно-

¹ Сыродой — парное молоко.

сит... Вот уж было каких-нибудь полсотни дворов, вокруг леса, а как только партизаны заявятся в деревню, так тут же и гремит машина — полиция из «курятника». В Ходоров, правда, не легко заехать им на машине — гать не давала, можно сказать... Хотя ее и старались укрепить: песком засыпали, хворостом устилали... Да зарядит дождь на полдня — и куда девался тот песок. Бухнет, как опара, гать, гниет хворост... Как только машина сунется на нее — стоп, загрузла! А начнет выбираться, так еще глубже зароется, на кардан сядет. Жилу болотную сразу и не загатишь... И теперь еще топко там, живет гать наша, хотя гравия туда уже немало вбухали... А у полицаев тогда была такая сноровка: как машина загрузнет, так они не ждут, не тянут ее, а выскакивают из кузова, рассыпаются в цепочку и пошли деревню окружать. Можно сказать, лес партизан выручал да гать... Правда, двое из нашего отряда попались... Их врасплох сцапали. Они, конечно, еще неопытные были, не местные. Их к нам из Москвы прислали. Хлопцы молодые. Вот они и проворонили — заговорились с девочками. А кто-то сразу побежал, полицаев предупредил...

— Они ж, бедняжки, не верили всё — думали, что свои, когда полицаи окружали их. И даже не убегали, не отстреливались. Чего только с ними не вытворяли тогда полицаи! Одного партизана, молоденького, даже в нужник головой опускали. Он молчит, окаменел будто. Так я и не сказал ничего... Не дай бог вспоминать то лихолетье... — вздыхает мать.

— Да, кто-то на них донес, — заключает Малинин.

— Кто он, тот доносчик, меня и теперь беспокоит. — Отец притушил папироску. — Может, и сейчас живет среди нас, ползает, зажав в кулаке свою злость...

— Я же тебя, Граська, тогда и не заметила, когда ты во двор вошел, — вернулась мать к прежнему разговору.

— Как же ты могла увидеть, коли плужком занялась? Все стучишь молоточком, как дятел, по кривому, слизанному лемеху, а он не поддается — как задрал свой нос, так ни в какую, — шутит отец.

— Я тогда из-за него, лемеха того, измучилась только. Пашу, а он выскакивает из борозды, скользит по земле. И хоть ты плачь — никак ума не приложу, как с ним управиться в поле! А потом решила все же сама выпрямить лемех, торопилась... Назавтра ведь коров гнать. И тоже беспокоюсь: где их пасти? На ложках не выходит. Однажды немцы ехали из Гиженки и заметили стадо. Остановились, выбрали двух телков и увезли... — Мать поглядела на стальные часы. Отец поднялся со скамейки. — Иди уж, Грасичка, иди... Отбудь, чтобы не судачили потом, что ты не был...

Отец вышел из хаты, а мать снова разговорилась:

— А назавтра гоню я коров по улице, а над деревней две «рамы» немецкие кружатся. «Не к добру, думаю, эти самолеты...» С мной были тогда Валька и Нина моя — помогали мне. Загнали мы коров в лес, в сороковой квартал. Я домой вернулась — надо же с полоской управить-

ся, Граська ведь не смог помочь: мы с ним поговорили немножко, посидели, да он и пошел в лес — ночь беспокойная была... Взяла я коня у Рыжчихи, только прогнала первый загон, и тут как стали бухать! Летят снаряды в лес, рвутся и в деревне и на ложках... Я уж вижу, что не утихомирится беда эта, коня отпрягла, завела в кусты — пустила. А сама побежала домой, ко двору...

— Значит, немцы отступали и стреляли по своим, так сказать, тылам? — Малинин внимательно слушал мать, поддакивал ей.

— Да. Шли у них впереди специальные отряды, которые прочесывали лес и хаты жгли. Такой отряд в тот день и проходил. Знать бы, так пусть бы коровы в хлевах стояли. Так нет, погнала...

С поля прибежала, собрала детей своих и повела к Семену Сэйке, в его землянку — чтоб хоть от осколков ухорониться. Только я вошла в землянку, как закричит этот Семен: «Вас будут сегодня колоть, на штыках крутить, вешать, а вы тут спрятаться хотите?! Веди свой выводок к мужу в лес — пусть он там вас и прячет... С вами сегодня поговорят!»

Сидит на перине своей Митриха — она спокойна. У нее письмо за пазухой от мужа, который в Германии немцам, может, служит. Дунька, соседка, также спокойна — ее муж полицай. Так этих Семен не прогоняет... Выскочила я с детьми из землянки, а снаряды бухают, свистят...

Прибежала к Луцее, тетке своей. Она мне и рассказывает, что девчонки, Нина и Валька, напугались было и коров назад в деревню пригнали. И тогда она да еще Ильюха помог, Лаврен, — коров этих аж за Майдан загнали. Я и говорю ей: «Дядина¹, пусть мои дети тут у вас побудут, а я побегу к коровам...»

Побежала. Бегу лесом, кличу Нину, Вальку. Вот слышу: воют они, плачут. Только так и нашла, по голосу. Успокоила их, вдруг вижу — торопится тетка моя с Ленкой, внучкой своей, и Надьку ведет за руку, а Колю на руках несет — маленький ведь еще, года нет. А за ними, залыхавшись, дубичут² Лаврен с Химой, Иван Коротенький и вся его орава, а следом — Вася Тимошиха. Снаряды уже и к нам стали долетать. Как упадет который, бухнет, так Иван Коротенький — брык под сосенку, лежит. Тут уж и страх берет и смех — Иван ведь глухой. Хима кричит ему в ухо: «Кум, это ж не самолет, а снаряды...» И он тогда подымается, отряхивается. А я гляжу, что хлопцев моих нет с теткой, спрашиваю у нее: «Дядина, а где ж мои хлопцы?» — «А знаете, они, куда я собиралась, на Усох побежали. И Зоя моя с ними. Я только успела наказать им, чтоб там к бабке Кордихе шли», — и передала мне Колю.

«Вот что, люди добрые, — говорю я им всем, — берите-ка каждый свою корову да смотрите сами — теперь я за них не ручаюсь, пасти сегодня никак нельзя. Вы прятаться бежите, а я не одна — с детьми...»

¹ Дядина — жена родного брата свекра, тетка, но не по крови.

² Дубичить — бежать изо всех сил.

Дядина, правда, осталась со мной и Тимошиха. Сели. А те все дальше подались и про коров забыли. Я достала из узелка припасы, что пастуш-кам своим брала. Стали есть всухомятку. Тут и стрельба утихла. Дядина и говорит мне: «Вернись я с детьми домой. Ленку заберу и Надьку, а ты будь тут с коровами», — и правда, тут же поднялась и пошла. И Тимоши-ха за ней — валюх-валюх, как утка.

Огляделась я, успокоилась. Коров поглубже в лес загнали, а сами на вырубку вышли и видим: люди работают там на своих полосках. Кто просо жнет, кто жито на зиму сеет... И так тихо-спокойно вокруг, словно и не стреляли.

Только я так поглядела, и как началась снова трескотня. И очередя-ми — тр-р-р-р, тр-р-р-р!.. И совсем близко кричат: «Хальт, хальт!» Валька с Ниной побежали, а я осталась. Стрельба не утихает. Пули — шпок, шпок, шпок!.. Ветки летят с деревьев сбитые. Слышу, коровы замычали, замычали... Я — к ним. Лежат они все, не поднимаются — как знают все равно, что надо прятаться. Я тоже легла под корягу, спряталась. Колю собой прикрыла, думаю: «Ну, меня убьют, а ему как потом без матери?» Легла я тогда на бок и его прижала, чтоб уж нас обоих, коли что, убили. Не-ет!.. Стреляли, стреляли — снова тихо стало. Поднялась я, гляжу, а на полосках пусто. Люди, куда я лежала, раз-бежались куда кто — и никогошеньки! Кличу Вальку. Она подбегает ко мне. «А Нина где?» — спрашиваю. «А она кинулась вместе с людьми бежать, когда стрелять начали». Ищем мы ее след — никакого следу. Потом увидели след босой ноги — как будто ее. Мы по этому следу трусцой, трусцой... Выбегаем к Усоху. Глядим, а немцев на поле — чер-ным-черно. Не то что черно, а зелено. То мадьяры были. Форма у них не такая, как у немцев, а какая-то зеленая, как листья.

Тут я и говорю Вальке: «Ступай, деточка, на Усох к бабке Кордихе. Там хлопцы мои — будь с ними. А я вернусь к коровам, а то болит моя душа, чтоб не случилось чего — заберут мадьяры эти, что я тогда людям скажу?» — и побежала назад. Сунулась я к коровам, а там полно солдат. Одни коров доят, другие обед варят — расположились. Я — назад. И только подошла вот, как кладбище усохское, а там солдаты лежат на обочине дороги, и автоматы наготове у них. Лежат, я иду. Прошла немножко. Вижу, один солдат поднялся, выбежал мне навстречу. Другой к нему скоренько подскочил, и кокарда у этого, что первый вы-шел, на картузе поблескивает. Он спрашивает у меня по-русски: «В лесу бандиты есть?» Что ж я скажу ему? «Нет, в лесу ваши солдаты», — а сама тревожусь, прижимаю Колю к себе. Он, дитенок мой, молчит — глядит только и молчит. Этот, с кокардой что, и давай допытываться у меня: «Где была?» — и пристально глядит на меня, ест глазами. Я от-вечаю: «Коров пасла». — «Сколько же у тебя коров?» — «Сорок де-вять... Не мои они, а всех, кто живет в нашей деревне». — «Чей ребе-нок?» — все выпрашивает у меня. Не молчит, правда, и его напарник, но он все по-своему лопочет. «Мой хлопчик», — отвечаю. «Муж где? Бандит, в лесу?» — строго смотрит на меня. А глаза страшные, как у

совы — водянистые какие-то. «Муж мой, говорю, с первого фронта не вернулся... Хлопчик уже без него родился...» — обманываю, а вижу, что не верят они мне.

Свели меня с дороги. Прошли немного. Вошли в палатку, а там ихний доктор сидит, врач. Я и ему все рассказала. Этот, с кокардой что, перевел и вышел вон. Долго его не было. А врач и давай со мной по-нашему говорить. Я даже испугалась. Он смотрит на меня, смеется и спрашивает: «Не привычно? Вот так, отступаем... А вы не бойтесь... — И посочувствовал: — Нате вам, тетка, конфеты для малыша, а то он слабенький у вас... — И все слушает Колю. — Спрячьте конфеты, чтоб никто не видел». А я ему не верю все равно, да он и сам это видит. «Вам просто повезло, что ко мне привели. Теперь вас отпустят. Считайте, малыш выручил. Вот записку только напишу — и пропустят...» И правда, стал тут же что-то писать на листочке. А потом, когда прибежал переводчик, врач отдал ему свою писульку. Меня повели опять на дорогу. Там уже стоял тучный такой пузан — это был чин какой-то. постарше этих. Посмотрел он записочку и как-то по-своему мемекнул, как старый баран, — мэ-эк! Я стою, боюсь — не понимаю же ничегошеньки. Переводчик тогда толкнул меня в плечо: «Идите же, вы свободны». Вот я тут уже и обрадовалась. Пришла на Усох, иду улицей. И тут меня увидела бабка Кордиха, зовет: «Заходи, Ева, ко мне скорее... Горемычная ты моя... Не волнуйся, хлопцы твои тут, у меня». Взошла на двор, вижу — они оба сидят на завалинке. И Зоя с ними, и Валька, а Нины с Надей нету... Я к ним подседа, расспрашиваю, а из ума. Надька с Ниной не выходят. Тут как раз и Вася Тимошиха из переулка идет. Подошла, стала супротив меня, глядит в глаза — вот-вот заплачет. «Василинушка, скажи ты мне правду: не дошли они?» — и плачу. «Не дошли...» — говорит. «А Луцзя где?» Так она возьми и ляпни мне: «А всех их вроде бы убили там... Слыхала я две очереди. И как Надька твоя вскрикнула, а потом и не отозвалась больше... Я и кинулась тогда бежать, по мне тоже стреляли, да вот как-то уберег бог...»

Ну что мне оставалось делать — сижу вою. Кордиха не стерпела да как стукнет-стукнет кулаком по стене — начала умирять меня: «Может, нам всем скоро хана будет... Чего ты развылась? Смотри хоть за этими детьми, что при тебе!»

Ночь наступила. Небо багряное — кругом деревни горят. Ходоров наш горит, Гиженка... Еще ж я и за Граську тревожусь — мадяры эти лес прочесывают, партизан ищут...

Утром весь Усох был уже власовцами забит — кишит просто. Расположились они где только можно. Один из них, молодой такой, пригожий — русский, сказано, человек, — услышал, как я позвала к себе Зою и говорю ей, чтоб никуда не отлучалась, спрашивает: «Ваша дочка?» — и смотрит, смотрит на Зою. «Ага, дочка...» — говорю так, а сама думаю: чего это он уставился, что ему надо? Нет, вижу, отошел, к своим подался, а потом погода снова вернулся. Принес хлеб. И медом хлеб тот намазан. Спрашивает: «Тетка, где ваши дети?» — и стал этим хлебом

угощать... Власовцы тогда пчел Адамовичевых выдрали. И пчелы крепко покусали солдата одного, самого проворного, видать. Его, значит, обматывали простыней и все утро холодной водой обливали. Он распухал на глазах — стонет, корчится в простыне, а они все льют на него ведрами воду из колодца. Но так и не отходили — помер, наелся меду...

«После, как закопали «пасечника», опять пришел к нам этот власовец, что хлебом с медом угощал, и заплакал. Сел на завалинку и часа три проплакал. Потом, правда, пожалился мне, что его невесту убили и что ее звали Зоей; и даже пулю показал — в кошелечке берег. Убили свои, из-за ревности. Но раньше он не знал — кто. А теперь ему сказали, что этот самый убил, кто пчельник разорял... Как раз о полудни он и наложил на себя руки — застрелился. Зашел за погребок, снял сапог и ногой нажал крючок... Прибежал его начальник, высокий, худющий, рыжий весь, с двумя наганами в руках. Злющий-презлющий. Кричит хлопцу этому, уже мертвому: «Гнида, трус!» Потом, забрав его документы и винтовку, приказал нам, чтоб закопали труп. И мы только и видели его, смылся...

Назавтра я домой подалась, в Ходоров. Пришла, а хаты моей нету, сгорела. Из всех построек баня только осталась да погреб. Мама моя с Надькой и Нинкой сидят, вижу, на обгорелом бревне, режут — думают, что только они и остались в живых. Рухлядь, что уцелела, мама в погреб собрала, замкнула и хотела уже забирать моих девок к себе.

Вот увидела я их здоровыми-невредимыми — обрадовалась: целы все, слава богу, живы.

А получилось все так. Нина хотела бежать ко мне, когда стали стрелять, да сбилась и попала на партизанскую тропу, забежала аж вон на Лоточок, куда партизаны ходили на обстрел машин немецких. Прибежала, а там гильзы кучами. Шоссе близко, а на нем немцев полно — отступают. Она повернула назад и выбежала на Соколовское поле. Там и увидел ее Лаврен. Он как раз шел от своей родни домой. Узнал Нину — за руку, домой привел. А Луцею тогда немцы с собой забрали и в «курятник» завели. Хотели расстрелять, как партизанскую жену. Яму уже начали копать, но, правда, знакомый полиций замолвил за нее слово — отпустили ее с детьми. А Надя и вправду вскрикнула — Вася не ошиблась, услышала ее голос. Наде, когда немцы стреляли по кустам, чиркнула пуля по ноге...

Значит, сидим мы на бревне, говорим — подошла к нам Митриха. Злая. И начала: «О, где ни таскалась, а целая... Корову-то мою, слышишь, загубила?! Мужик, может, забрал — есть же что-то надо в лесу. Небось ораву всю сохранила свою...» — «Так и моей коровы нету...» — говорю я. «Можешь не заботиться — она в моем хлеву. Я забрала взамен своей... А что ж, коли мою сгубила, то свою мне отдай! А как ты думала?! Вот так!»

Мне обидно стало. Сухой комок подкатился к горлу, душит — вздохнуть не могу. «Ну и бери... Бери, змеища черная, бери...» — говорю, а сама стараюсь не заплакать, сдерживаю себя. Хоть бы уж корова была,

а то вымя — с кулачок. Да и молоко совсем постное; коли и можно получить сметану, то не больше ложечки, а так все простокваша...

Правда, Митриха опомнилась: подержала Буренку мою дён пять да и выпустила. Встретила меня на улице и говорит: «На что мне дохлятина твоя... Я вот одно знаю: ежели бы немцы забирали при мне корову, то я потребовала бы от них бумажку. Сейчас бы вот показала б ее заходящим, и они не трясли б мои тряпки, не рылись в доме. А так — как налетят, все перероят, перешупают, а приглянется что — заберут...»

Как раз Лаврен подошел и все это слышал. А тут мимо нас обоз немецкий валит. Едут на конях: сидят бабы молодые — шлюхи, и немцы при кокардах в обнимку с ними, пьяные. Так Лаврен молчал-молчал, да и сказал Митрихе: «Что, Грунька, хотела бы, чтоб подонки эти тебе бумажку выписали? Они могут: пальнет который из автомата — и сразу все забудешь... Вот будет бумажка! Поверь уж мне, я знаю их ласку, испытал... Одно меня удивляет, как это они проминули тебя, дурь из твоей башки не вышибли? — Лаврен боязливо покосился на удаляющиеся подводы и уже громче сказал: — А коли нравится тебе отребье это, то собирай скорее транты¹ свои да шпарь, пока не поздно, за ними...»

Потом Малинин долго рассказывал матери о своей семье, о себе... Мне, правда, очень хотелось спать, но я держался, пересиливал сон — не терял нити рассказа Малинина. И уж знал, что во время войны он был стрелком-радистом и ранило его в самолете...

Спали мы не больше трех часов — поднял и меня, и Малинина, и Петьку, конечно, отец. Первого разбудил меня. Я, скрючившись, спал в кабине, подложив под голову ватник.

Сборы наши было недолгими. Все необходимое снаряжение положили в кузов еще вчера. Там же был новенький брезент и палатка, которые и должны укрывать нас от летних дождей и знобких луговых ночей.

ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ КОВЧЕГ

Отец уговорил Малинина заехать в Красную Слободу к леснику Ивану Сомову. Мы хорошо знали этого человека, дружили с ним и даже время от времени хаживали вместе на охоту. У Сомова была собака Джульбарс. И отца вдруг осенила мысль: заполучить эту собаку себе. В том, что Джульбарс пойдет за бобром, сомнений не было: поначалу он часто пробовал раскапывать бобровые норы, но тогда его старания никем не поощрялись, и он скоро охладел к бобрам. Беспокоило отца одно только, что слишком уж вымахал Джульбарс — вряд ли вместится в бобровую нору.

Сомов, как мы и ожидали, дал согласие и на лодку, и на собаку и

¹ Транты — женские наряды, тряпки.

сам охотно принял предложение ловить с нами бобров. А это значило: в нашей бригаде будет отменный гребец, своя лодка и если не подведет Джульбарс, то и собака. Сомов к тому же хорошо знал в лугах все озера, где издавна живут бобры. Да и в Проне чуть ли не каждое бобровое семейство у него на примете было.

Малинин, как только разгрузились у Сомова на дворе, отправил машину в Чериков — она нужна там для обслуживания базы. Сомов ушел в лесничество. Он признался нам, что и сам уже не помнит, когда был в отпуску, потому и надеялся, что ему не откажут.

Джульбарс слушался отца. У него, наверно, уже выработался такой рефлекс: если только этот безрукий человек появляется во дворе его хозяина, то обязательно быть хорошей увлекательной охоте. И теперь Джульбарс, веселый и послушный, так и стремится к нам, ластится и прислуживает — не подпускает чужих к лодке, дополна загруженной ловушками.

Я, правда, на всякий случай взял Джульбарса на поводок, чтоб не убежал вслед за хозяином: нагонит где-нибудь под Гиженкой, и как нам тогда ловить бобров без собаки весь день? Сомов вернется не раньше вечера...

Сомова перевозил через реку я. Нарочно напросился. Сел на корму, чтоб хоть немного поучиться грести. И тотчас же пал духом — почувствовал, что управлять лодкой не так-то просто. Сомов, правда, кое-что подсказал мне, поучил. Особенно важно было знать, как держать весло, как подвесливать, чтобы лодка шла ровно и чтобы не перебрасывать весло с одной стороны на другую: слева направо и наоборот, — грести надо только с одной стороны.

Наконец наш бобрововецкий ковчег отчалил от берега.

Малинин, оказывается, тоже не умеет грести: он, чего как раз и не надо делать, перекидывает весло с одной стороны на другую, брызгается и страшно удивлен, что очень уж непослушная и — хуже того — неходкая Сомикова лодка.

В семье Сомова любят уменьшительно-ласкательную форму в обращении друг к другу. Если это дочь, то Манечка, а сыновья — Ванечка, Мишечка... Отсюда и сам хозяин не Сомов, а Сомик. Так его почти все называли. Так начали звать его и мы, но не в глаза, правда.

— Спиннинг забыли! — спохватился вдруг Малинин.

Он даже начал было причаливать к берегу, но отец как бы шутя заметил:

— Ловить надо бобров, а не шук, Александрович!

— А ведь и правда, Андреевич, — смущенно улыбаясь, тут же согласился Малинин. И снова посыпались нарекания на лодку: — Корыто, а не лодка у Сомика — непослушная, зыбкая... Как же в ней работать, а?

— Это от неумельства, Александрович. Практика требуется, — безобидно поясняет отец. Он идет по берегу и следит, как мы управляемся с лодкой. Еще бы! Ему не очень-то нравится наша снововка. — Сомик всегда гребет только слева и неслышно... Он умеет!

Малинин где-то проворонил, пробуя грести только слева. Нас начало разворачивать. Малинин поспешно перебросил весло на правую сторону, стал выпрямлять лодку.

— Этак мы и до вечера не доплывем до бобров, — смеется сам над собой Малинин, над своей неловкостью. — Андреевич, возьми на буксир!

— Не лезьте на глубину, возле берега держитесь — легче будет, — советует отец.

Джультарс явно недоволен нашей медлительностью, потому тоже обеспокоен; тянет батьку вперед — того и гляди, что порвет поводок, скулит: дескать, не стой тут с ними, не медли, веди скорее на охоту!..

Мы все же кое-как прибились к берегу и, малость передохнув, решили увеличить скорость. Я встал на носу лодки, принялся орудовать длинным и узким весельем, которое, наверно, и приспособлено для такой гребли — стоя. Малинин остался на корме, греб сидя, но, как и прежде, с брызгами и шумом. Лодка, однако, ускорила свой бег и, кажется, даже стала более управляемой, послушной.

Миновали Синий Вир.

Здесь Проня неглубокая. Берега ее заметно отделились друг от друга. Но вот лодка застопорилась — всем днищем села на мель. Малинин чертыхнулся, назвав меня капитаном-вороной — надо же, посадил судно на грунт!.. Правда, лодку столкнули быстро, но уже держались только середины реки, хотя быстрина так и норовила перебороть нас. Мы, однако, уже наловчились немного — гребем изо всех сил, стараемся не податься течению.

Незаметно Проня опять сузилась. И уже никак не достать веслом ее упругого песчаного дна. Мы снова приблизились к берегу.

Справа от нас — до самого леса — ровно тянется голубая лента старицы, которую тут называют Кринкой: ее оба берега густо овиты пышной лозой.

Отец просит, чтоб его перевезли. Мы подруливаем к берегу, он смело и как-то даже торжественно усаживается — как синица на кол — и готов, везите его! Джультарс рядом, у ног, глядит в сторону леса, принюхивается — ловит какие-то, одному ему доступные и, должно быть, волнующие запахи... И не терпится ему: не успела еще лодка ткнуться в берег, а он уже пружинисто-мягко соскакивает на сушу, озирается и, довольный тем, что его не удерживали, виляет хвостом. Отец тоже прыгнул, а заодно и лодку отпихнул ногой, да так, что она сама вдруг стала носом вперед, как и нужно нам, гребцам.

Поворачиваем в старицу. Здесь нет течения, и Малинин один легко управляется с лодкой. Повсюду, особенно у берегов, плавает свежая, будто этой ночью погрызенная лоза. Меж кустов по берегам тянутся бобровые следы-стежки. Все они ведут к воде. Трава местами так измята, словно кто долго катался по ней. А все это, как заметил Малинин, и есть бобровые полазы. Что ж, если это и в самом деле полазы такие, то уж где-то тут, совсем рядышком, и бобры живут...

Начинается кустарник. Роскошные лозовые ветви свисают низко над

водой, как бы нарочно затеняя прибрежное дно реки, потому на глубине бобровую нору не легко найти. Зато в надводной линии берега все норы хорошо видны. Но они верхние. И конечно же, пустые. Хотя если верить Малинину, то и в таких норах есть иногда жители: обычно селятся в них норки, а бывает, что и выдры даже.

Отец ждет нас — решил сесть в лодку, а мне поручает Джульбарса. И вот я на берегу. Иду тихо, чутко. Лодку не обгоняю. Джульбарс так и рвется вперед, но я то и дело одергиваю его.

Отец вдруг настораживается и начинает сосредоточенно всматриваться в берег. Вот он поднял руку вверх — дает знак Малинину, чтобы попридержал лодку. Как раз же и кустов напротив нет, прогалинка выдалась небольшая. Малинин бросает весло на ловушки, хватается рукой за одинокий хохолок береговой осоки, но жесткие стебли острой, как лезвие бритвы, травы обрываются, оставляя порезы на ладони. И тогда Малинин пробует ручкой весла зацепиться за берег. Лодка закачалась, отец потерял равновесие и упал грудью на ловушки. В лодке шум и гомон. Малинину, однако, удается все ж остановить лодку, а потом даже и к берегу подтянуться.

Я стоял чуть поодаль и не сводил с отца глаз: он тихо брал ловушки и бесшумно кидал их куда-то под обрывистую навись берега — должно быть, там и есть бобровые ходы.

Слышу, Малинин шепотком говорит отцу:

— Андреевич, надо будет сделать в кузнице длинный штырь, чтоб можно было приштыриваться... Как раз так вот, по сторонам, колечки приспособить, и в тот борт, который к берегу, продел штырь — и лодка на якоре!

— Можно пугать! — подал голос отец, а сам аж пригнулся над водой — внимательно следит за ловушками.

Малинин ухитрился даже привязать ловушки.

Я подвожу Джульбарса к норе, и он — какой молодчина! — начинает принохиваться, а потом прямо с поводком исчезает в продушине.

— Собаку пустил! — предупреждаю я Малинина и отца, а сам нагибаюсь над проломом и слушаю. Но все тихо. Неужто нет бобра?

Никто из нас — ни Малинин, ни отец, ни я — никто не хочет верить, что бобра нет в норе. Сначала отец посылает мне на помощь Малинина, а потом и сам не усидел в лодке, не сдержался — очутился и он на берегу и долго все обследовал нору. Но она оказалась не ахти какая — без отнорков и тайников каких-нибудь: было всего только одно незамысловатое лежбище, да и то как раз над ним зиял пролом.

— Александрович, так на Глупке совсем иначе... Там торф, нору копать легко — потому и был весь берег изрыт, на воде висел. А тут над лежкой тонюсенький пласт земли, чтоб дышать можно, воздух чтоб просачивался... Тут, выходит, все у них проще, все сделано так, чтоб, ежели кто напугает, как можно скорее ухорониться в реке. А на канавах да на озерах, где воды мало, — там, конечно, бобры роют много подземных ходов, на воду редко выходят...

Следующая нора тоже пустовала. Я неожиданно провалился в нее ногой. Джульбарс, правда, и в этой норе побывал; понюхал, поводил носом и вылез. Отряхивался долго и старательно. И я снова подумал, что он все-таки для бобровых нор великоват.

Через несколько метров Малинин снова останавливает лодку. Я жду, пока отец погружает ловушки в воду. Он спешит, чтоб не упустить дорожное время: пока бобры разберутся спросонья, в чем тут дело, кто их беспокоит, то уж и закрыты будут в норе. Малинин привязал лодку за кустик лозы и, как только может, помогает отцу. Джульбарса от себя я ни на шаг не отпускаю.

Наконец все готово. На этот раз отец сам выбирается из лодки. И как только он ступил на берег, Джульбарс вдруг потянул меня к небольшому, еле заметному отверстию-провалу, что было далеко от берега.

Я не смог удержать его — волок он меня здорово, как конь, и рука моя просто-таки сама разжалась.

— Джульбарс бобров чует — тут, значит! — уверенно заключает отец. — Сашка, чего стоишь? Скачи в лодку, следите там вдвоем за ловушками, а я тут сейчас задам жару бобрам! — говорит он полушутливо. — Не зевайте там, слышите?!

— Да уж не беспокойся, Андреевич. Мы им тоже жару зададим! — в тон отцу отозвался Малинин.

Я тем временем уселся на край лодки, взял весло — готов, дело теперь за бобрами. Малинин к трем ловушкам сделал поводки из проволоки и держал их в руках. Он надеялся, что этими поводками куда легче и быстрее, чем ручкой весла, можно вытянуть ловушку.

Отец попросил, чтоб подали ему лопатку. У него, правда, был шуп — тупой стальной прут с ручкой, обвитой изоляционной лентой, чтобы при работе не так сильно натирало ладонь. Нору он отыскал скоро. И теперь вот нужна лопатка — необходимо расширить отверстие, чтобы можно было Джульбарсу «взять» воздух из самой норы. И как раз в то время, когда Джульбарс просунул свой нос в нору, а потом начал лапами расширять ее, я заметил возле средней ловушки бобра. Черный и сквозь воду даже серебрится — красивый бобр! Правда, я уже знал, отчего он так серебрится — в подшерстке его меха, оказывается, удерживается воздух, так вот этот самый воздух и светится мелкими бисеринками. Красиво!

Бобр осторожно и долго разглядывал ловушки, даже слегка потрогал первую, что стояла по его ходу и как раз впрыток с берегом. Нет, он не пошел в ловушку. Не поворачиваясь, попятился назад в нору. И кажется, только скрылся в норе, как вдруг Малинин забеспокоился — он видел бобра и только ждал, покада зверь хорошо войдет в ловушку.

— Гэ-эпа-а-эп! — потянул на себя поводок Малинин. — Готов, красавец, попался!

Действительно, поводок ускорил процесс ловли — бобра Малинин вытащил быстро и, перекинув ловушку через борт лодки, тотчас же набросил поверх брезентовый плащ.

Отец выжидал, покуда Малинин настраивал запасную ловушку, но как только она была закинута на ход, пустил Джульбарса в нору.

И тут в ловушку, за которой я неотрывно следил, повалил, словно дым из печки, вихрастый клубочек густо-желтого ила. И я уже не сомневался: бобр где-то совсем близко...

Джульбарс не молчит: скулит, барабанит лапами — наверно, застрял где-то в норе и не может пробраться поближе к воде, чтобы как следует турнуть и этого нерешительного, а может — скорее всего так оно и есть, — осторожного бобра. Но вот Джульбарс в полный голос начал лаять, да так, что весь берег загудел — не иначе они там нос в нос встретились, бобр и собака! Ну и Джульбарс — протиснулся все-таки, проскребся!..

Мгновение — и бобр, отбив передними лапами первую ловушку, двинулся дальше, а там уже не разглядывал... Но он не ушел — как раз угодил в заднюю ловушку, в ту самую, что прикрывала тылы. Удачно отец расставил снасти — вот мне у кого учиться надо!

Я ловко подцепил ловушку ручкой весла, подтянул ее поближе к лодке, но поднять не решился: лодка качалась и я мог — этого еще не хватало! — упасть в воду. Выручил Малинин. Но когда я передавал ему весло, оно вдруг повернулось, и ловушка соскочила с ручки, покати-лась в глубокое место, чуть ли не на середину реки. Малинин тотчас же прыгнул в воду, ухватил ловушку руками, поднял ее вверх и вынес на берег. Бобр кидался, хватал зубами проволоку и яростно тряс ее, кроша свои дугообразные, блестяще-желтые резцы, беспомощно тыкался мордой в дно ловушки...

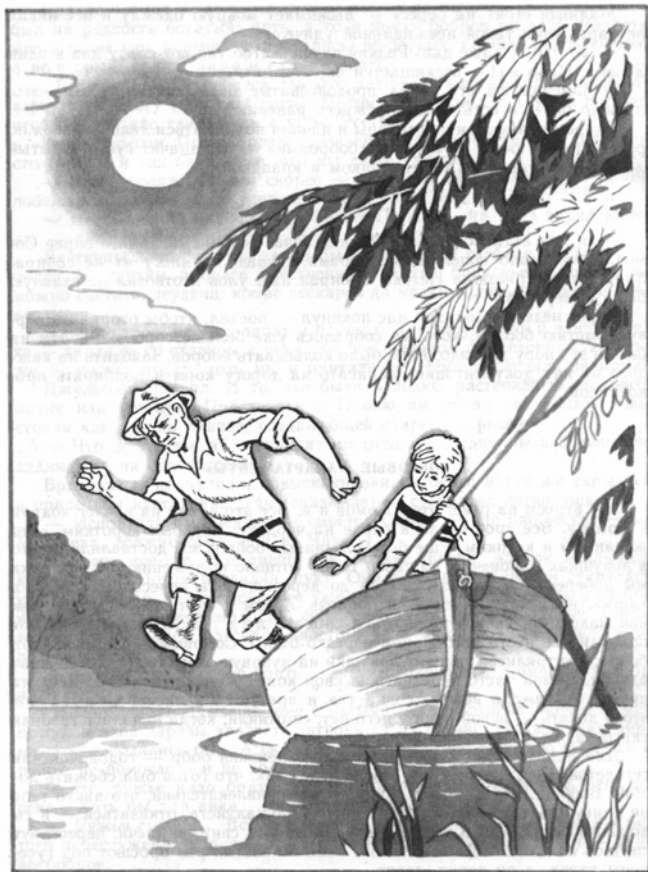
Мы уже не ожидали, что в этой самой норе могут быть еще бобры, и принялись наводить в лодке порядок: ловушки с бобрами уложили в середине лодки — как раз между перегородок уместились, поверх их сначала явору наложили, а потом еще и плащ накиннули.

Отец с Малининым закурили. Пленные бобры то и дело напоминают о себе — пробуют грызть ловушки, но никого из нас это нисколько не беспокоит — все ловушки проволочные, крепкие; даже ту, первую нашу ловушку, мы полностью реконструировали. Правда, размеры ее остались прежние — чуть шире и длиннее остальных ловушек, — и ее обычно отец ставит на самый главный ход, центральный.

Я хотел было доставать ловушки, укладывать в лодку, как вдруг опять залаял Джульбарс. Но сейчас он лаял не так громко, как прежде. Надо же, в том самом месте, где бобр отбил ловушку, знакомо завихрился ил. Слышно было даже, как в норе что-то захлюпало. Я затих, изготавился с веслом. Подбежал отец и принялся тихонько совать в нору шуп — как раз у воды.

— Следи! — сказал он шепотом: ему показалось, что кого-то все же потревожил, задел шупом.

Один за другим вскопили в ловушку два бобра-сеголетка. И как же они так умудрились — одновременно! Теперь уже я их тащил. И, признаться, еле управился. Весом они не уступали вдвоем одному взрослому бобру: килограммов двадцать. Рослые бобрята!



Малинин стоит на берегу — выжимает мокрую одежду и все никак не нарадуется такой неожиданной удаче.

— Ух ты — даже два! Редкий случай, чтоб так вот сразу два в один ловок... Надо же! — восхищается он, как дитя.

Я замечаю на его ногах продолговатые белые пятна-рубцы — это, должно быть, и есть следы прежнего ранения...

Скоро мы выехали из старицы и начали подниматься дальше вверх по реке. Правый берег ее как раз «бобровый» — это значит густо укрытый лозовым кустарником, ежевичником и крапивой.

* * *

Шли дни активного лова. Филиал базы, созданный нами в сарае Сомова, ежедневно пополнялся бобрами. Правда, помногу их не собирали — часто приезжал Петька, забирал наш улов и отвозил на главную базу, в Чериков.

Через неделю Малинин нас покинул — поехал, чтобы отправить первую партию бобров, которых собралось уже больше сорока. Работы на базе в эту пору хватало: надо было кольцевать бобров, заводить на каждого из них документацию, запасать на дорогу корм и подбирать проводников.

БОБРОВЫЕ «АПАРТАМЕНТЫ»

Мы втроем на реке: отец, Сомов и я. Все это время на ночлег ходили к Сомову. Все трое спали в сарае на чердаке. Сон был коротким, зато желанным и крепким. Еще бы! Пойманных бобров мы доставляли прямо в ловушках и, конечно, на своем горбу (отцово выражение). И вот, пока мы доберемся из дальних лугов до деревни, пока пересадим бобров в клетки, пока поужинаем — и полночь. А там и спать уже некогда, так как надо чуть свет отправляться снова в луга. Часто каждому из нас приходилось нести по бобру, а нередко отец с Сомовым носили и по три бобра. Ухитрялись: нацепят ловушки на дубовую жердку и так их тащат вдвоем. Сомов часто перекидывал свой конец жердки с одного плеча на другое — тяжело ведь, жердка так и врезается в плечо! Отец не мог этого делать — левой руки у него нет, ее отняли, когда началась газовая гангрена, по плечевой сустав...

Для меня всегда оставался самый маленький бобр — годовичок или сеголеток. Но за дорогу и я измучивался так, что готов был сбежать домой. Вообще охота, должно быть, тем и привлекательна, что никто тебя не принуждает ею заниматься: можешь, пожалуйста, отказать — и ты вольный казак, и не будут так больно саднить спина и плечи, перестанут сниться немцы, которые всё ловят тебя и каждый раз бросают под гусеницы танка, а он давит, давит...

Правда, Сомов несколько раз брал коня у лесничего — это если улов был на редкость богатый: пять, а то и шесть бобров на день. Радость моя в такие дни, конечно, удваивалась: во-первых, не надо нести бобров, а во-вторых, можно даже и самому ехать.

...Возвращаемся с ночлега. На этот раз решили на несколько дней вернуться на Ресту (приток Прони). Потому оставили для Петьки письмо, чтобы искал нас где-нибудь в устье Ресты.

Идем берегом Прони, разговариваем. Вдруг впереди нас поднялся столб воды и так бабахнуло, что мы даже присели.

— Рыбу глушат! Давай скорее — захватим браконьеров! — Сомов побежал просто-таки, не удержался. — Кто ж это, а?

— Не свои, как видишь... Не знают Прони — на мель заряд кинули, — заключает отец.

Действительно, если бы заряд был взорван на глубине, взрыв получился бы глухим и более действенным. А так браконьеров постигла, можно считать, неудача: кроме пескарей да мелких плотичек, ничего и не всплывает...

Их было трое. Все в шляпах и плащах. Двое орудовали в нашей лодке — гнали ее со старицы в реку. Это уж слишком с их стороны. И надо же — нашли лодку, хоть мы и прятали ее. Неужто следили за нами?

Джультбарс залаял. И те, что были в лодке, растерялись: выгонять лодку или убежать? Проскочить в Проню им никак не удастся — мы стояли как раз на канаве, соединяющей старицу с рекой.

— Что ж это вы, а? — кричит им отец. — Лодку мы все равно не дадим, как ни старайтесь!

Браконьеры причаилили, повыскакивали на берег и тут же скрылись в приречном кустарнике. Там, оказывается, стояла их легковушка.

— Испортили им обедню, — смеется Сомов. — Не нашенские — из Могилева, должно быть, или из Чаус...

На реке кое-где, все равно как свежие щепки, начали всплывать краснопёрки. Потом я увидал шуку. Она была еще живая и старалась уйти вглубь, но, видимо, силы ее уже иссякали. Она повернулась на бок и затихла. Отдохнув малость, снова пыталась нырнуть. И не могла: только трепыхалась, плескала хвостом — не сдавалась, не хотела умирать...

— Ружье надо с собой брать, — неуверенно сказал Сомов. — Мы бы им переполох устроили...

— Переполох? Думаешь, они с голыми руками отправляются? У них небось всякой заразы хватает. Затрону-ка их сейчас, так вот эдак мирненько не подались бы... А скажем, если бы из нас один кто был, так и ружье не помогло — и не подумали бы удирать.

— Не, ружье надо брать. Как ни говори, а все-таки весь день на реке... Хоть бы для вида... Пусть валяется в лодке.

— Ружья-смужья... Все это лишнее для нашей работы. Лодка и без того перегружена. Обложились, как цыгане, всякими шмотками — и не до бобров.

Помаленьку укладываемся. Ручкой весла я поддеваю за ребрины ловушки, выуживаю их из воды. Мы умышленно топим ловушки, чтобы не так бросались в глаза случайному прохожему.

Вскоре Джульбарс что-то учуял, и мы тотчас же останавливаемся. Я внимательно осмотрел подводный берег — норы чистенькие, свеженькие! Дно реки даже светится, ярко-изжелта-сиреневое, — будто бы там горит какая-то необыкновенная электролампочка. Нор несколько — и все они одна возле другой. От них, как стоки, идут на середину реки утрамбованные канавки — углубленные выходы-стежки.

Чтобы обойтись без лишнего шума и плеска, отец остался на берегу, а мне поручил обставлять норы. Хотелось не подкачать, оправдать доверие. Да и кому же, как не мне, осваивать такие обязанности — только мне и полагалось, так как лодку я гнать еще не умел. Какое гнать — я выбился бы из сил на первом километре! Собаку водить? По силе, конечно, зато бобра выгнать из норы не такое уж легкое дело. А отец наловчился — лежку сразу же найдет, и пошло-поехало...

Перед тем как гнать бобров, отец все же проверил мою работу. А потом только распорядился:

— Ну, глядите там, начинаю пугать...

Сомов сидел на корме. Я — на носу лодки. Для подмены осталось еще две ловушки. Следим. Окоренные древки, или, как мы их еще называем, цепки, торчат из воды; концы их лежат на борту лодки. Цепки эти толстыми — с комля — концами прикручены к ловушкам. Я обхватил руками те, что ближе ко мне, держу. Так надежнее — сразу же почувствуешь бобра, как он только затронет ловушку.

Сомов вдруг заерзал в лодке. Гляжу на него. Он показывает пальцем на ловушки, шепчет:

— Дергает, дергает... — И прислушивается. — Трясет! В ловушку не вмещается — большой очень!

Под его рукой цепок ходит ходуном. А он медлит, все прислушивается — боится, как бы не ошибиться.

— Дядька Иван, тащите бобра! — кричу ему и тут же сам спохватываюсь: в моих ловушках тоже бобр!

Почти одновременно вытащили в лодку бобров. Черные. Воинственные.

Покуда Сомов закидывал запасную ловушку, его бобр чуть не удрал: оттянул передними лапами дверцу и начал уже просовываться вон. Пружина в дверце была тугая, но не заметь я вовремя, промедли — и зверь, конечно, юркнул бы в воду.

Берег крутой, заросший зеленью. Много ежевики и особенно крапивы. Вьется по лозе дикий хмель; качается на лозовой ветке трясогузка. Блестит, слепит глаза озерцо росы, что собралось на выгнутом, как пригоршню, листочке молодой ольхи. Джульбарс боится крапивы, трет лапой нос. Отец растеребливает ему лаз: топчет крапиву ногами, сбивает шупом ее жгучие листья.

— Тут у них апартаменты, — говорит отец. — Лежек много. Проло-

мы все старые. Значит, живут бобры тут, и давно живут. В такой дурман даже коровы не лезут, боятся крапивы. А они, коровы-то, и портят бобровые лежки. Они же настырные, козы и те позавидовать могут их настырности... Но тут проломов, видите, нету.

Как бы крапива ни сдерживала Джульбарса, а он все-таки принюхивается, ищет — чувствует, значит, бобров. Вот копнул лапой раз, другой и опять нюхает.

— Дай помогу, дай... — подступает отец.

Джульбарс отходит, ждет. И как только шуп проваливается в нору, откуда густо понесло бобровым запахом, собака начинает нервничать, бросается к проколине и начинает азартно копать лапами землю. Отец просит отойти, но собака не слушается: земля из-под ее когтей залетает даже в лодку.

Сомов смеется:

— Ого! Вот это шпарит! Вот это азарт!

Отец неожиданно — диво дивное! — проваливается в нору обеими ногами. Крапива острекает ему лицо, руку.

— Ну и жгучка — печет как! — и спохватывается, пробует выбраться из норы, но это ему не сразу удастся. Он все еще обламывает крапиву, наконец подзывает Джульбарса: — Давай-ка, профессор, тут понюхай...

Джульбарс скрылся в проломе.

— Что там, Герасим? — спрашивает Сомов из лодки.

— Я же говорю: апартаменты! Караульте! Собака полезла вверх куда-то, могут сейчас встретиться... — Отец с трудом вылезает из пролома. Как раз где-то в глубине, далеко от берега, забрежал Джульбарс. — Дайте мне ловушку, перекрою нору от воды, дайте!.. Не медлите, слышите?! Дайте мне ловушку! Скорей!

— Нет запасной, все заняты, — говорю я. — Пускай на воду идет — быстрее, может, поймает.

— Или удерет, — добавляет отец.

Действительно, бобр вскоре соскользнул, как с печи все равно, откуда-то сверху и шлепнулся на воду. Мгновение — и он уже в ловушке.

Отец видел бобра, рассказывает:

— Ну и летел — клубком катился! Вот так нагнал страху Джульбарс — не иначе, встретились... — и смеется.

Джульбарс все еще лаял. Неужто еще бобр есть? Если так, то будем ждать.

Знойный день, тихий. Хорошо пьется вода.

Я ЖАЛЕЮ ЗМЕЮ

Кто-то за мною следит. Да еще в таком густом кустарнике. Кто?

Я сижу над проломом норы, стерегу зверя. Ловушки ждут его. Вот-вот должны вернуться отец с Сомовым — они пошли на озеро, а я остал-

ся при лодке. Сложу руки не сидел — нашел нору, поставил на ход ловушки. По всему видать, что нора с бобрами: не зря ведь старая про-
душина так старательно замаскирована окоренными лозовыми чурбачка-
ми, ветками, а потом еще и грязью залеплена. Словом, все говорит о том,
что бобры есть. Но точно об этом «скажет», конечно, только Джульбарс.
Поэтому надо ждать.

Кто же так жадно за мною следит, кто?

Я начинаю бояться этого невидимого — чей же он все-таки? — взгля-
да. И как я ни озираюсь вокруг, как ни всматриваюсь в кустарник, но ни-
кого не вижу. Может, просто показалось мне все это? Может, ни с того ни
с сего нашла на меня боязнь?

Но нет же... Кто-то следит за мной!

Слышны шаги. Приподнялся, вижу — возвращаются с озера бобров-
ники. Джульбарс бежит следом.

— Чего ты тут нашел? — подойдя, спрашивает отец. — Бобров запер?

— Ловушки поставил, уж больно заманчивое местечко...

Джульбарс ткнулся в куст и вдруг застыл на месте, шерсть на загрив-
ке дыбом поставил, ворчит. Мы затихли, насторожились. Сомов бесшумно
направился к ловушкам, сел в лодку. Джульбарс не отступает, но и не
решается нападать.

Сомов поудобнее расположился в лодке, осмотрел ловушки, пригото-
вился тащить бобра. Но Джульбарс все не решался на атаку.

Отец тихо подкрался к кусту, надеясь, что там бобровая лежка. Но
вот он насторожился, чуть пригнулся и, ничего не говоря, начал с силой
бить шупом по краю куста. Прошлогодние листья сухо зашуршали —
живая черная дуга, упруго выгибаясь, ворочалась, сжималась...

— Гадюка... Вот это да! Первый раз вижу такую — как удав! —
удивляется отец. — Собаки, значит, боятся гадюк... — и подцепил шупом,
чуть приподнял вверх обвисшее тело змеи. В хвосте оно все еще жило —
виляло.

Я даже вспотел, когда увидел такую огромную змею, пусть даже и
мертвую уже: надо мной явно насмеялся запоздалый страх. Такой
страх — самый страшный... Вот кто так пристально следил за моими
движениями — змея.

Я долго рассматривал длинное, усыпанное темно-белесыми крапинка-
ми змеиное тело. И мне, признаться, было жалко змеи — слишком уж
красивая она!..

Помню, мы часто ходили в Кленовый Остров купаться. В день раз
пять, а то и больше купались. Было там болотце махонькое, а посредине
его — лужа, где корова и хвоста не замочит. За полдня эту лужу мы
взбалтывали так, что вода делалась черная от торфа. И нас это радова-
ло: мы были уверены в том, что такая вода способствует загару. Купались
и не подозревали, что лужа кишмя кишит водяными ужами. Но однажды
я увидел их, когда пришел на это болотце рано утром: с берега один за
другим, подпрыгивая, летели ужи в воду. Серые, жирно-упругие, лосня-
щиеся, красивые и потому еще более страшные!

С той поры я терпеть не мог гадов, боялся их — уж это или змеи-медянки, удавы или желтоватые, как солнечный закат, сливни... Ящерка и та пугает, шуршит в листьях: думаешь, пока не разглядишь, что гадюка какая...

Но эту убитую змею мне жалко: хочется знать, как она называется по-научному, чем кормится, сколько лет живет... Интересно, в каких отношениях она с бобрами: враги они между собой или друзья? Если вдуматься, то для нашей местности подобный экземпляр — редкость. Да, поймать бы эту змею живой, сдать бы ее в районный зверинец (конечно, если бы он у нас был) — и пусть приезжие смотрят на живых обитателей нашей местности: волков, зайцев, птиц, бобров, выдр, куниц, норок, змей разных... Пусть школьники ходят и ездят в этот самый зверинец на экскурсии, изучают живую природу хоть вот так, при помощи местного зверинца...

Отец с Сомовым принялись донимать меня шутками.

— Хватила бы вот за ногу — и чтоб ты стал делать, зверолов?

— Вас бы позвал, — отвечаю я, улыбаясь.

Сомов, переворачивая тело змеи носком сапога, замечает:

— Какая все ж маленькая у нее головка... Череп не больше дикой маковины, зато такая длиннющая — с грабильно¹, а то и больше. Вот тебе и на: это ж вот змеинное верть-круть, — и сапогом придавил хвост змеи, — да круть-верть несет с собою смерть... Много в хвосте яда накопилось — оттого и желтый весь... Слышал я, что яд этот при солнечном свете не помирает, потому змея и будет метлять хвостом, покуда солнце не сядет... Ну как ты, Сашка, не подставился ей?

— Он ждал, покуда змея сама подползет и цапнет... — недовольно начал отец. — Не зря ведь сапоги снял, босой по берегу носился...

— Придумать бы такой прибор, чтоб можно было заманивать им в ловушки бобров, — смеюсь я. — Поставить ловушки на ходы, включить прибор — и бобры сами бегут из нор, не нужно и гнать, канителиться...

Отец строго сказал:

— Гляди у меня, приборист!.. Чтоб никогда больше не носился голыми по берегу, слышишь?!

ЛЮДИ И НЕЛЮДИ

Кончился отпуск у Сомова. И он решил дать телеграмму лесничему — попросил еще десять дней, но уже за свой счет. Его просьба была удовлетворена, о чем мы тоже узнали из телеграммы. Так что Сомову не пришлось искать попутной машины, чтобы самому добираться в лесничество, — помогла почта. Впрочем, почтой мы пользовались все время.

¹ Грабильно — черенок грабеля.

Для нас она — та единственная надежная ниточка, что связывала с базой. Обычно мы отправляли короткие, как шифровки, телеграммы, в которых называли сначала место нашей «дислокации», а потом давали заказ на продукты или деньги и коротко уведомляли, сколько отловлено бобров. Нередко, прочитав такую телеграмму, почтарки недоуменно посматривали на меня (обычно я ходил на почту), а дотошные души просили даже разъяснить смысл телеграммы — иначе, мол, не примут. Я, конечно, растолковывал. И не успевал выйти за порог почты, как за мной следом бежали все, кто был поблизости, кому почтальонша успела сказать: приехали бобрововы, и у них в лодке столько-то и столько-то живых бобров! Любителей посмотреть редкого зверька, пока я проходил по деревне, собиралось много — и все они неотступно следовали за мной. Мне в таких случаях ничего не оставалось, как вести людей к лодке. Хорошо, если речка была близко от деревни, а нет — все шли со мною в луга. А это лишние заботы для нас и напрасная трата времени. Да к тому же еще не всякий шел только посмотреть бобров. Местное начальство, как правило, обязательно попросит, а то даже и потребует показать документы. Бегут, конечно, и такие, кому интересно дознаться, как ловят бобров, посмотреть на снасть, чтобы можно было сделать себе такую, — это местные браконьеры. Бывшие охотники, кто когда-то испытал «вольные хлеба», тут же, на берегу, набиваются в помощники, надеясь на легкий заработок. Таких людей больше всего, конечно, интересует, сколько нам платят за отловленного бобра.

И все же мы не избегаем людей, не чураемся. Кто-нибудь из них нет-нет да и подскажет нам, где есть бобровые озера, которых мы сами, может быть, и не нашли бы.

Больше чем кто-либо другой помогают нам пастухи. С ними отец всегда знается, поддерживает тесную связь: не жалеет для них ни курева, ни времени, потраченного на разговоры. Пастухи обычно знают все озера в округе и порой, сами того не подозревая, сообщают нам ценные сведения. Отец, правда, никогда не начинает свой разговор сразу о бобрах. Сначала расспрашивает про озеро, интересуется, есть ли там, вокруг этих озер, лоза, крутые ли берега...

Заплыли мы так за Чаусы. Возле деревни Путьки наш участок кончался. Сомову через три дня нужно быть на работе. Он с радостью ушел бы из лесничества и стал бобрововом, если бы это занятие было не сезонное, если бы и зимой можно было этим делом заниматься. Действительно, сезон отлова близился к концу — осталось немного меньше месяца. На 15 сентября запланирована отправка последней партии бобров. Теперь же мы все, как сказал Малинин, работаем только на Сибирь. Нужно, чтобы «сибирские» успели подготовиться к зимовке: обжились на новом месте, сделали себе надежные зимние норы и запаслись кормом. Так что медлить с отправкой никак нельзя.

На почту направляемся все трое. Возле лодки оставляем Джульбарса. Он не на привязи, нет! Его привязь — бобры в лодке. Пусть кто чужой попробует, когда нас нет, подойти к лодке — ни за что! Правда, Джуль-

барс за всю свою жизнь никого еще не укусил. Не станет кусать и теперь. Всегда, когда мы уходим в магазин или, как сегодня, на почту, отец оставляет возле шупа, к которому пришвартовывалась лодка, свою брезентовую куртку. Джульбарс ложится на эту куртку и, кажется, начинает дремать. Может, он и спит даже, но того, кто направляется к лодке, он всегда замечает вовремя. Сперва подымается и туда-сюда прохаживается по берегу, словно умышленно показывает, что он, дескать, не на привязи. Да, Джульбарс оправдывал наше доверие: внушительный рост и заранее вздыбленная шерсть на загривке производили чрезвычайный эффект: пришелец сразу же останавливался и уже не лез на рожон. Если это были дети, то к нашему приходу их много собиралось. Они толпились шагов за пятнадцать—двадцать от лодки — ближе Джульбарс не подпускал. К детям он все-таки был снисходителен: хоть они порой и раздражали его своей дотошностью, а терпел, не кусался. К тому же он, кажется, хорошо знал их характер: понаедают, а после побегут за хлебом — не может быть, чтоб не оценили его дружелюбия. Так все и получалось: дети вскоре несли хлеб. Но Джульбарс не брал его и этим «набивал» себе еще большую цену. Через несколько минут возле него уже лежали куски сала и колбасы. Он и тут мужественно терпел — старался не смотреть на соблазнительные яства. И уже потом, при нас, с большим удовольствием подбирал все эти приношения.

— Продайте нам свою собаку, дядьки, — перебивая друг друга, кричали ребятишки. — Продайте, а? — И шептались между собой: — Она ведь у них ученая, ни за что не продадут... Вот коли бы нам такую собаку... Украсть бы ее у них, а? — И хором кричали: — Мы ее у вас украдем, коли не продадите! Напоим самогонкой глухого Романа, и он вашу собаку в мешок загонит, увидите! Роман на собак заговор знает — он любую собаку возьмет... Вот! — И ко мне как к ровне и примирительно: — Мальчик, мы тебе яблок принесли — привяжи собаку и покажи нам бобров...

Смысл нашей телеграммы и на этот раз был не очень-то понятен посторонним. Сочинили мы ее, правда, не сразу. Сомов, например, горел желанием напомнить Малинину, чтоб тот как можно скорее приезжал и рассчитался с ним. Я гнул свое: дескать, нету денег — выручай Малинин! Отец внимательно прочитал подготовленный нами текст, покачал головой и сказал, что очень уж все слезливо и многословно получилось.

— Писаки! — донимал он нас. — Надо, чтоб телеграмма, дорогие мои, была веселой и экономной. Чтоб никто даже и не подумал, что мы тут бедуем... А Малинину и без того все ясно — завтра же прикатит, хотя и отправкой занят.

Отец почесал затылок, задумался и вдруг продиктовал свой текст. Я записал. Получилось что-то похожее на ребус: «Мы Путики финансы поют романсы десять Герасим».

Ничего себе телеграммка, веселая. Почтарка, правда, как и следовало ожидать, по-своему все поняла.

— Чего ж это вы на такую артель мало просите — только десятку?.. —

и зашлась от смеха. Выщипанные брови-нитки напомнили мне две черные резинки, которые то растягивались, то снова сжимались, образуя дуги. А глаза были у нее как две крупные оловянные картечины: клади такую картечь в резинку и пуляй по воробью!..

— Э-э, голубка... Кто ж много просит? Много брать — много и отдавать, — закруглил отец разговор.

С почты мы направились в сельмаг.

Денег у нас хватило только на дешевые консервы, ржавые две селедки и пачку пшеничного концентрата. Хлеб еще оставался от прежних запасов, но только одна буханка, да и та измятая, расплюснутая — кто-то из нас нечаянно сел на рюкзак.

Мы не хотели терять дорогого времени понапрасну и потому, несмотря на то что свободными были только две ловушки, как только возвратились к лодке, принялись разгружаться, чтоб привести все в порядок и снова начать отлов.

День был солнечный, но ветреный — как раз этого и не терпят бобры. Стоит только во время поения поддержать бобров в воде, а потом вынести на берег, да еще на такое место, где, как отец говорит, сифонит ветер, — и зверьки простудятся. Нельзя, однако, забывать и про солнце. Чобы никакой беды не случилось с бобрами, мы сначала копаем на берегу полуметровой глубины яму — такую, чтоб поместить все десять ловушек. Тащим к яме ольховые ветви, которыми после и накрываем ловушки сверху...

Я остался возле бивака, начал варить обед. Отец с Сомовым, взяв ловушки, щуп и топорик, направились на озеро, про которое сказал нам продавец.

* * *

Джультарса не стало — кто-то застрелил его неподалеку от нашего бивака. Из мелкокалиберной винтовки. Нам очень не повезло... У кого-то окаменело сердце, черная злоба таилась в душе. Кто он, тот паскудный человек? И хоть мы не знаем, кем он является в нашем обществе, какую занимает должность, но твердо убеждены в одном: у этого человека мелкокалиберная душонка!

Нашли Джультарса через час после смерти. Лежал он на стежке, что вилась берегом Прони; из-под левой лопатки сочилась кровь... По всему видно, что стреляли с противоположного берега — там в густом лозняке мог незамеченным оставаться стрелок...

Отец с Сомовым ходили в сельсовет, надеялись дознаться, кто в деревне имеет такую винтовку. Председатель сельсовета заверял их, что собаку убил кто-то чужой, нездешний.

Схоронили Джультарса на берегу Прони. Сомов долго и неподвижно сидел над речкой. Он, кажется, плакал. Да, плакал, но тихо, без слез.

ТРОЕ СУТОК НА БАЗЕ

Машина пришла за нами, как мы и ожидали, через день. Приехал только Петька, а Малинин не смог — он действительно был по уши завален делами.

Уговорились так: Сомов гонит лодку в свою деревню (сам напросился), а мы грузимся — и в Чериков. Отец, конечно, надеялся на лодку Сомова, если не найдем другой. Сомов согласен, готов дать нам свою лодку. Да что лодка в сравнении с собакой — Джульбарсом... Лодку найти проще. А вот где взять собаку? Теперь-то уж мы знаем, что значит для бобролова хорошая собака — такая вот, как Джульбарс. Попробуем, конечно, выучить Пирата. Да получится ли что? Вряд ли будет из него толк — очень уж равнодушно-безучастен он к бобрам. А ведь самый возраст: как раз три года исполнилось — только бы, кажется, и начинать ему свою охотничью карьеру...

Немилосердно палило солнце. В такую жару нельзя везти бобров, нужно переждать, когда хоть немного спадет дневная духота. И это не выдумка. Это необходимость, подсказанная практикой. Бобры должны быть доставлены на базу здоровыми. Хотя, к сожалению, не всегда такое удается. Чаше всего перегреваются бобры во время ловли, когда сидят в ловушках, а лодка сует не у берега в лозняках, а на солнцепеке.

...В Чериков приехали в сумерках. Рабочие базы, Галя и Лора, уже принялись поить бобров.

Галя совсем еще девчонка. В прошлом году она окончила девять классов. Завербовалась было в Карелию, на лесоразработки, но мать удержала ее при себе — хотела, чтобы дочка дальше училась. На базе Галя работает с первых дней ее основания. Теперь надеется до занятий в школе вернуться из командировки — она вместе с Лорой и Володей Братченко будет сопровождать бобров.

Галин голосок слышен повсюду: то она восхищается бобрами, то спорит о чем-то с Володей, то донимает своими шутками молчаливую Лору.

— Посмотри, Лорка, какой смешной бобр!.. На тебя похож! Точная копия — капелька в капельку! — и заливается смехом.

— Ветреница ты, — отзывается Лора. — Уши ты мне прожужжала, пустозвонка. Скорей бы уж окончилось все это... Знай: с тобой никогда больше не стану вместе работать — это мне наука!

У Лоры щеки и лоб усеяны веснушками. Правда, это ее не печалит. Веснушки ей как раз к лицу. И она, наверно, знает это. Однажды девчата поссорились. Галя обозвала свою напарницу жабой... Тут уж Лора не смолчала.

— Услышу еще раз, и знаешь, что я сделаю? Знаешь?! — гневно спрашивала, а заодно и грозилась она. — Я тебе космы живьем повыдергиваю! Язык твой досужий вырву и иголкой исколю! Ты у меня помнишь жабу...

Галя еще пуще смеялась.

— Ой, здорово ты говоришь, Лорка, и потешно... Да я на тебя бобра ночью напущу, вот увидишь!.. — И снова весело раскатывался ее звонкий смех.

Порядок на базе отменный. Все прибрано, подметено — не узнать базы. А еще — ну и ну! — столько клеток. И в каждой два, а то и три-четыре бобра — это если с молодыми. Теперь и мы своих присоединили: всех стало 69. Вот оно, то необходимое количество бобров для последней отправки в Сибирь.

Мне нравится буквально всё: и чердак с сеном, где отдыхают сотрудники базы, и шеренги новеньких бочек-осиновок (где их столько набрали?), доверху наполненных порубленной лозой и осинкой. Все это мокнет в воде, чтоб потом аппетитнее грызлось бобрами. Тут же, у бочек, стоит на ящике незавязанный мешок, полный белых, с изюмом, сухариков. Бобрята не очень-то любят сушеную сдобу — им побольше подавай молодой вербы да осины — витамины. А сухарики эти сами ешьте!..

Поздно вечером приехал из Кричева Малинин.

Все, как он сказал, улажено — через день отправка бобров.

— Вот молодцы, вот догадливые! — радовался он. — А я уж думал, как мне быть одному. А тут и помощнички объявились надежные! Завтра, значит, кольцевать бобров будем. На день работы. — Малинин подмигнул отцу. — Обогнали вы всех — тридцать девять бобров добыли для этой отправки. Выходит, недаром старались. — Он включил электрический фонарик, навел пучок света на двор. — Купил вот себе забаву...

— Больно велика радость, что ты купил. — Отец старается быть серьезным. — Вот кабы ты мне купил для зажигалки камушки да похвалился...

— Чего ж ты не сказал раньше? Подожди, а те, что я привозил, истерлись разве?

— Они ж бракованные какие-то: чиркнешь раз-другой — и один только пшик получается.

Мы смеемся. Малинин оправдывается:

— Отсырели, значит... Надо было подсушить.

— И я так думал. Но ничего с подсушкой не получилось. Положил на сковородку, так они только — пшик-пшик — шпокали, как капсули... Нет, не отсырели, а такими их у нас сделали. Серка не та... Помню, Витька Федоров привез мне из Германии — вот были камушки, не чета твоим... Почти два года пользовался.

— Подумаешь, беда какая, — смеется Малинин. — Спички есть.

— Спички-то, конечно, есть... Но мне удобнее все ж зажигалкой.

— А-а, да... — Малинин обнял отца рукой за плечи. — Эх, достанем и камушки — не проблема! Пошли-ка спать...

Улеглись на чердаке, на сене. Да какой там сон! Едва только затихли наши голоса, как разбушевались бобры. Сарай и двор просто-таки гремели; там, где стояли клетки с бобрами, без конца бормотало, скреблось, стучало, фыркало... Сумасшедшая какофония! И все ж мы заснули...

Утром разбудила нас Галя.

Я чуть приоткрыл глаза и увидел ее белую косынку, каким-то чудом удерживающуюся на макушке, да черные густые брови.

— Кирилл Александрович, бобра принесли, слышите?! — Она подождала немного, но никто из нас даже не пошевелился. — Да проснитесь же вы, бобры!.. Ну и спите, спите! — обиделась она и спустилась с лестницы.

Малинин пошевелился. Он сбросил с себя плед, потянулся.

— Сколько там на твоих архиерейских? — спросил он меня. Как-то вот догадался, что я тоже не сплю, а может, и он видел Галю?

Я приподнялся, полез в карман за часами, но там их не оказалось. Рылся долго в своих карманах, словно искал что-то совсем маленькое — маковое зернышко будто.

— Потерял ты их, что ли? — удивился Малинин. — Герасим, сынок твой девочкам часы подарил! — начал насмехаться.

— В сене поищи, под собой, — ворочаясь, советует отец. — Да не подымай сено, не трясни, а то соскользнут на пол... Где-нибудь тут должны быть... Говорил же я тебе, чтоб прицепил шнурок, а ты, пентюх, не послушал отца!..

Слез я вниз. Вот они где, часы мои: лежат на цементном полу — провалились сквозь редкий настил потолка. Обе крышки отлетели в сторону. Собрал, приладил крышки, но что толку — часы не тикали.

— Конец моим архиерейским, — сказал я удрученно, — упали с чердака, разбились... Так что, тата, придется новые часы покупать, но теперь уж только наручные.

— Коли так будешь беречь, то лучше по солнцу время узнавать — дешевле обойдется. — Видать, что отец сердится. — Безалаберный ты, как я вижу... Еще совсем новые часы, а ты их прикончил.

— Там не иначе, как маятник поломался. Можно поставить другой... — успокаивает отца Малинин. Нога его ищет, нащупывает планку лестницы.

Я выбрался из сарая. Только вышел за ворота, как наткнулся на Галю.

— Там бобра привезли, — тревожилась Галя. — Поднялся Кирилл Александрович?

— Он сейчас идет... — И тут я заметил «гостя» с бобром, пошел к нему.

Это был старик. Он сидел на толстом бревне, лежавшем около бочек, и курил. Возле его ног — ватник, перевязанный лыком. Из ватника высовывался бобровый хвост. «Ничего себе бобролов!» — подумал я встревоженно и поскорее побежал за ловушкой. От сарая, отряхивая с пиджака труху, спешил Малинин.

— Кто бобра принес? — спросил он.

— Незнакомый, чужой.

— Фокусник! — Малинин быстрее зашагал.

Как только я принес ловушку, Малинин откинул с бобра ватник, подставил ловушку. Зверь потихоньку подался вперед.

— Смелей, горемыка, смелей!.. Не бойся, дурачок, муки твои кончались.

Малинин помогал зверю сунуться в ловушку — подталкивал в спину рукой.

Старик удовлетворенно косит глаза — следит за бобром и за движениями Малинина.

— Голыми руками взял бобра... Не то что вы — сетками да собаками. — И, не утерпев, справился: — Сколько же мне дадите за него?

— А сколько скажешь, столько и дадим, — спокойно отвечал Малинин.

— Ну, значит, когда при Польше, так много получалось, а в теперешнее время — не могу сказать... Все-таки как вы сами, а? А нет, то этак — злотых сто... Тыфу! Рублей сто жду от вас или на червонец какой поменьше... — и хитро усмехнулся, довольный собою.

— А чего это, дед, ты не в Польше, а здесь, на Соже, очутился? — спрашивает Малинин. — Да и мало просишь, — добавляет он. — Обычно мы даем по триста рублей. — Малинин осматривает бобра. Зверь тяжело дышит, глаза его заплывли гноем.

Я щупаю пальцами бобровый хвост. Он горячий и сухой — даже шелушится: температура, значит, высокая. Зверь болен.

— Так зачем это вы на речку? — волнуется старик, когда мы, забрав бобра, направились с базы на Сож.

— А чтобы не опоздать... Чтоб тебя, дед, выручить — от греха отвести. — Малинин поправил ловушку на плече, взял ее рукой половчее. — Выпустим, а то пропадет в неволе...

— Да что вы говорите? Бобра моего в речку обратно? Деньги ж, надеюсь, дадите какие? — всполошился дед. — Выходит, мне ловить нельзя, а вам можно?

— Нам — можно. А тебе же никто не разрешал, так?

— Ой, тут что-то не то... Хитрите вы, антихристы, нарочно хвостом виляете, чтоб заморочить мне голову... Я ведь, ей-богу, думал, что всем можно ловить да вам сдавать, а оно и тут с премудростями...

— Потому мы и не штрафуем, если все это так. Выпустим бобра на волю — и квиты!

— Ой, батюшки!.. Я же две ночи не спал, мерз две ночи, пока не подкараулил его...

— А при Польше, дед, тоже не спал? — донимает его Малинин.

— По-всякому было... И не спал — само ничего в руки не придет. Тогда же я украдкой ловил: ез¹ поставлю, частоколом реку перегороджу, сетку проволочную замаскирую — и бобр, когда жирует, забредет в мой ез ненароком, запутается и задохнется. Продам, бывало, мех, так ползны с хлебом, спокоен...

— Где же ты жил при Польше, дед?

— У саменького Немана жил, на хуторе. А здесь, в Черикове, мой

¹Ез — частокол или плетень поперек всей реки.

сын. Вот я к нему и перебрался. И дурака сваял. Не надо было мне свой хутор продавать. Теперь вот сижу у сына на шее — мешаю только. У него своя жизнь, новая...

— А этого бобра, дед, как поймал? — интересуется Малинин.

— В заводи... Воды там было воробью до хвоста — вся высохла почти что. Ходы остались с водой да канавки. Вот я ночью и подкараулил его. Он только из норы высунулся, а я на него — и фуфайкой накрыл! Вытащил, понятно, из воды, обвязал лыком...

— Ой, дед, не любишь ты зверя, даь бы тебе все-таки штраф!

— За деньги все можно невзлюбить: и зверя и человека, — пробормотал старик, замедляя шаг.

— Идемте с нами, идемте. Посмотрите, как этот ваш заморыш поплывет. — Малинин не хочет обижать деда. — Скажите мне только, — почему-то на «вы» начал он, — зачем вам столько денег, целых сто рублей?

— А кому деньги руки жгли? Кому они лишние были? — Дед насутился. — Вы или шутите со мной, или по-серьезному?

— Для чего ж мы несем зверя на речку? Наверно же, чтоб выпустить. Да и какой это бобр — он же едва дышит... Мы серьезно!

— Придумали, что заморыш... едва дышит. А все это, чтоб денег мне не дать.

— Хоть бы и здоровым был, выпустили б! От населения зверя не принимаем.

— Так кто ж вам столько наносил?

— Сами.

— Везет вам на них. Каждый день ловите небось?

— Ловим.

Подожли к реке. Малинин осторожно опустил на берег ловушку, открыл дверцу. Бобр, почуяв воду, заметно оживился. Выполз из ловушки наружу, приподнялся на задних лапах, осмотрелся и — что это с ним? — подскочил к деду.

«Фш-ши-ых-х!» — прошипел зверь.

Старик едва успел отскочить в сторону:

— Какой же он хворый, а? Вы просто со мной комедию разыграли!

Бобр опустил на все четыре лапы, посидел немножко и рывками, словно не верил, что он уже на свободе, устремился к воде. И как только достиг ее — шмыгнул в реку, спрятался под водой.

Горе-бобролов чуть не бросился следом.

— Знал бы, что так все будет, убил бы его лучше!... И дурак же я — принес, подставился...

— Ступай отсюда, злой человек, ну! Уходи, а то побью!.. — Малинин стоял против кривоногого старика с мелким носатым лицом и желтыми колючими глазками.

Он ждал, что еще скажет дед. Но тот, правда, замолчал — испугался угрозы. Повернул и потрусил берегом Сожа.

Я глядел на воду. Бобр вынырнул неподалеку от противоположного



берега и долго отдыхал — черной головешкой торчала его головка. Затем плеснул по воде хвостом и опять скрылся.

— Очухается... Это ему не воробьиная заводь, — смеется Малинин. — Здесь простор, воля...

Кольцевать бобров начали после завтрака. Работа это такая. Володя держит бобра за передние лапы. Галя — за задние. Малинин сначала выстригает на бобровом ухе шерсть, смазывает кончик уха йодом и подставляет под него специально сделанную из сосновой коры планочку, а затем, промыв лезвие скальпеля в спирте, осторожно прокалывает ухо. Бобр содрогается весь, из глаз слезы катятся. Малинин быстренько продевает в проколотое ухо алюминиевую пластинку, где обозначен номер и слово «Moskva», сжимает кончики пластинки и наглухо загибает их. Готово! Следующий... Я записываю в ведомость номер пластинки (кольца), пол бобра, день, когда зверь закольцован...

Вот и следующий бобр прижат животом к столу. Правда, этот пробует вырваться, дергается. И Галя едва удерживает его задние лапы. Но все же справляется, держит. Бобр, почуяв силу ее рук, успокаивается — вырваться невозможно...

Через день мы выехали на наш новый участок — реку Остер, приток Сожа. Первые два дня был с нами и Пират. Но ему не посчастливилось — его покусал бобр. Испытав на себе бобровые резцы, Пират вылетел пулей из норы. Мгновенно вскочив в лодку, свернулся на палатке и испуганно поглядывал то на меня, то на отца. Теперь, казалось, он боится не только ловушек и бобров, а даже всплесков воды.

ПРИСТАНИЩЕ У БАБКИ АВГИНЬИ

Вечереет. Наш рабочий день, можно сказать, окончился.

В облитой багрянцем реке купается солнце, охлаждая свои огненно-жгучие, похожие на жала, лучи. Вода, кажется, шипит и клокочет, точно так, как от камней, когда отец, истопив баню, кидает их, раскаленные добела, в дубовую бочку с водой.

Бобры уже не спят. Правда, они пока еще и не на воле; наводят небось «марафет»: приглаживают своими «гребешками» (раздвоенный коготь на задних лапках) взлохмаченную шерсть, вычесывая из нее песчинки, а нередко — бывает и такое — мелких водяных блошек коричневого цвета. И потом уж, чтобы предохранить шерсть от влаги, начинают «лакироваться» — смазывают свой густой ворс добротным жиром, который содержится в двух подкожных железах — своеобразных мешочках-тюбиках. И не удивительно, что бобры, отловленные в конце дня, скажем, всегда «прифранченные», лоснящиеся. Интересно отметить, что жир этот и по цвету и по запаху у самок значительно отличается от жира самцов. Это и понятно: из всех пяти чувств у бобров наиболее

развито обоняние, а значит, звери легко и безошибочно и даже на значительном расстоянии определяют пол.

Нам остается еще кое-что припрятать — с собой никак не унести всего имущества. Первым делом лодку прикручиваем цепью к толстому суку наклонившейся над рекой вербы, вершина которой начисто обглодана бобрами — добрались-таки до ее сочной и пышной кроны (конечно же, во время весеннего паводка); ловушки топим в омут; лопатку и топорик да еще моток алюминиевой проволоки, которая крайне необходима для ремонта ловушек, прячем в старой полуобвалившейся бобровой норе. Таким образом, все, что не понадобится для нашего «стационарного» ночлега, мы оставляем около лодки, а сами направляемся в деревню, хаты которой хорошо видны с реки.

Где-то на окраине деревни скрипит колодезный журавль, бренчит ведро цепь; в центре, наверно возле клуба, играет радиола.

Мы знаем, куда идти — к бабке Авгине. Неделю тому назад в этой деревне побывали отец с Малинными. Они и облюбовали ее хату.

Вошли во двор. Хозяйка только что подоила корову.

— Принимайте постояльцев! — сказал ей отец.

— А-а, ну это и хорошо... — Старуха постояла минутку, поулыбалась приветливо. — Засветло ж вы управились... Заходите в мою светлицу, Располагайтесь... — и первой направилась в хату.

Двор просторный. Наша машина не то что может свободно заехать сюда, но даже и развернуться. Рядом с забором — колодец. Сруб его низкий, покосившийся; заднюю сторону двора занимает сарай.

— Хлевок ничего себе, просторный — клеток пять в нем станет, — радуется отец.

Что и говорить, пристанище выбрано хорошее!

Мы ужинаем, а бабка, сидя на шаткой скамеечке, вздыхает:

— А я совсем одна теперь... Кой-как управляюсь с хозяйством, а на большее и сил нету...

— У вас же, помню, вы говорили в тот раз, два сына есть...

— Сыновья есть. Слава богу, не отреклись от матери. Но им сподручнее в гости наведываться... Живут-то не со мной...

— Хата ваша в пригляде, вижу. Тут уж сыновья стараются, да?

— Старший. Он в соседней деревне живет.

— Ну-у, коли сын рядом, это уж не одни... — замечает отец. Он пробует продолжить разговор, спрашивает: — Вот мы заметили, что этот край деревни, который от реки, не спален в войну. И ваша хата уцелела. Как же так вышло?

— А знаете, сын мой старший, Гаврила, сберег и свою хату и все остальные, можно сказать. Старика тогда моего убили... Кто-то из тех, кто хаты жег, стрельнул. Человек десять их всех было, а может, и больше. И кто-то, значит, стрельнул, а Яшка мой и подставился как раз... Пуля ему хрясь в грудь! Гляжу — падает Яшка, клонится. И не ойкает, не кричит, а падает. Сдохнула я, кинулась к нему, а он уже мертвый, не дышит, и кровь из груди течет. Я — выть! Подбежал Гаврила, гля-

дит — батка мертвый. Он тогда опрометью в хату, достал из-под пола откуда-то винтовку, выбег на улицу... А там команда хаты палит, а полицаи пьяные, дерутся между собой — что-то не поделили, видать... Он тогда, Гаврила мой, и стал сидеть по команде этой, с факелами что, из винтовки своей... Троиш уложил наповал, а троих или даже больше ранил. Остатние побросали велосипеды и разбежались... А тут и разведка вскоре наша показалась, а потом и танки пошли... Так хаты и уцелели, но только те, которые не успели поджечь... Тогда, помню, Гаврила мой подобрал велосипед и долго ездил на нем после войны. Годов, может, пять ездил. А купил мотоциклетку себе, то велосипед взял меньший — Витька. И этот катался... Витька теперь в Кричеве живет, на шиферном работает. Женится. И уже хлопчика приждали... Взяла невесточка отпуск, а Витьке не дадут что-то. Вот ее с внучонком и жду со дня на день. Как же быть тогда, где вам спать, чтоб маленький не мешал?..

— Ну... Не беспокойтесь, — говорит отец. — Мы можем и на сеновале поспать — лето ведь.

— Не-ет, уже прохладно... Да у меня там и нету ничего — голые жерди. В хате будете спать. Невестка на кровати, а вы на полу, на соломе, — впокат. А сама ж я на печи сплю. — Она подошла к лампе, подкрутила фитиль. — Вот как утром придет телеграмма, так и Манька заявится к вечеру. Витька посадит ее, а тут уж сама дорогу найдет, доберется.

— Скажите, а кто ж вам сено косит? — поинтересовался отец.

— Гаврила помогает. Покосил вот, на проценты заработал, да и мне, как престарелой, выделили луга... Надо бригадира вот как-то просить, чтоб коня дал... Он что-то с Гаврилой не ладит, так теперь даже и со мной не разговаривает. Правда, Левонька Рудков — этот, что трактористом работает, — пожурил бригадира. Так, может, и наладятся наши отношения... А может, я с Левоньком поговорю, так он сено мое на тракторе перевезет — там же один воз и будет. Левонька хлопец дельный, не гляди, что приезжий. Обжился вот — и как свой теперь. В зятях он тут у Марфы Чибиковой. Марфа баба языкастая, не приведи бог!.. Так он поначалу отучал ее — частенько бил...

— Битьем, значит, характер исправлял, — заинтересовался отец. — Культуру бабе прививал...

— И правильно делал, — утвердительно кивает головой Авгинья. — Марфа с малолетства неряхой была, помелом... А теперь вот за Левонькой очистилась, ходит справная... У нее ж, у Марфы этой, и теперь один глаз толчет, а другой мелет — пустомеля она и теперь. — И как бы спохватилась старуха: — А вот уж удалась такой — любит побрехать! Правда, опасается Левоньки... Но он уже не бьет ее, прощать стал. Свой человек все ж: он и пожурит, он и приласкает...

— Оно и неправильно, что бил. Это не метод.

— Что это вы говорите? Ежели бы он не бил Марфу, она бы, ей-богу, свихнулась бы... Как пить дать! — Старуха поднялась со скамейки, прошла к окованному черному сундуку, достала оттуда домотканую прос-

тыню, подошла к кровати. — Вот тут и будете спать, а Манька приедет — что-нибудь придумаем.

— Мы ж не паны, не господа — и на полу можем, — отнекивается отец. — Не заримся на большую роскошь и уютность...

— Да не выдумывайте невесту что... Разве я не знаю, где лучше спать? Может, вам уж и довольно сидеть, укладывайтесь. Небось утомились за день, наработались. — Она прищурила глаза, улыбнулась. — Что ж это вы сегодня ничего не принесли?

— Отложили на завтра, — шутит отец. — Бобры ведь тяжелые, так вот отдохнем и завтра принесем.

— Они емкие! — замечает она, словно знает про бобров куда больше, чем мы. — Туточки ж вот, на этой канавке нашей, весной все плавал — ловкий! Вы пройдитесь канавкой нашей, пройдитесь. Их же туточки пруд пруди! Только пристально вглядывайтесь в берег — они ж, ей-богу, под каждой корягой сидят. Они же туточки, в нашей канавке, никем не притесняются... Это ж они как раки, да? На дне пещерки копают и сидят тамоко да лапкой за край пещерки держатся, чтоб водой не подымало вверх, да? Они и правда как раки?

— Нет, они не как раки. На реке они в берегу живут, в норах. А на болоте — в хатках.

— В хатках? Как люди, значит? — Старуха даже руками всплеснула.

— Нет, не как люди... — протягивает отец. — Но хатки ихние уютные и большие.

— Вот же я, баба, прожила век, а не видала таких хаток. И высокие?

— Высокие. Как баня ваша, а то и выше бывают, ежели бобры долго живут в одном месте и никто не пугает их... — терпеливо разъясняет отец.

И разговор продолжается.

— Ну вот, а я совсем и не думала, мне и в голову не приходило, что бобровые хатки высокие и уютные. А сами ж они, бобры, как карапузики все равно — горб только один, будто копешка, виден... А шея ж какая у них?! Она ж, ей-богу, в этот самый горбьяк вросла...

Долго еще говорили они. Отец только поддакивал, объяснял, слушал.

КУЦЕХВОСТАЯ МЕДАЛИСТКА

Нести в деревню трех бобров нам никак не выходит — тяжело. Вот где пригодилась бы наша тачка. Но должна прийти машина, и потому отец, оставив меня возле лодки, пошел встречать Петьку.

И действительно, вернулся он не один. Я издали заметил машину. Отец стоял вместе с Малининым в кузове, и пустой рукав его гимнастерки развевался на ветру.

— Говоришь, ловятся бобры? — Малинин здороваётся со мной за руку, передает мне саквояжик. — Бери поешь, а мы тем временем рыбку половим. — Он держал в руках спиннинг. — Идем, Андреевич.

— Думаю, что на лодке удобнее будет, — предлагает отец. — Тут ведь коряг много, не успеешь отцеплять блесны...

— И то правда, — согласился Малинин, засовывая в карман белой плотняной куртки коробку с блеснами. — Лучше, конечно, на лодке.

Они поплыли вверх по реке. И я догадался, что отец рассказал Малинину про старицу, где мы ловили бобров, — там еще утром ходила щука.

Петька решил искупаться. Достал все свои туалетные принадлежности, разложил на траве. Ходит осторожно — ну точно старичок; ноги его тонкие, худые и короткие. Кажется, Петька не в духе. Спрашиваю у него:

— Как там другие бригады, много у них бобров?

— Есть и у них, не гуляют... Дядька твой, Никита, обогнал вас, а Демид — в хвосте. Демиду — и смех и грех — даже арестовывали... Он, вместо того чтоб ловить бобров, два дня в бане под охраной сидел — за браконьера приняли. Опровергали все его доводы так: «Какой же ты бобролов? Бобрлов нельзя ловить, запрещено». Сидел он, бедолага, на хлебе да на воде, покуда Малинин не выручил. Вот попался! Теперь каждому бригадиру Малинин документик выписал, и надо только отмечаться в местном обществе охотников.

— А с нами тоже случай был, но под замок, правда, не угодили... Дождь льет, некуда деваться. Тут мы и забрались в баню, что стояла над речкой, и давай сушиться. Ночь, темно. Огонек наш горит, а мы сидим греемся да разговариваем. Вдруг батька заметил, будто в окошко кто-то заглянул. Он взял да и вышел из бани. А там хозяин бани в исподнем стоит и ружье держит наизготове. И чуть было не стрельнул в батьку... После, когда разобрался, кто мы и как очутились в его бане, весь день покою не давал — все прощения у батьки просил...

— Надо остерегаться, не лезть на рожон... В этой глуши всякое может быть... Значит, бобры здесь есть?

— Есть, конечно.

— Выходит, бобры есть, а ловить их некогда — завтра Малинин с Герасимом Андреевичем в Москву едут.

— Ты повезешь?

— Нет.

— Почему?

— Погорел я, браток... Застукал меня вчера автоинспектор — документы забрал.

— А как же быть?

— А так... Буду лозу подвозить на базу, воду... Покуда не вернется Малинин — никаких документов!

— Так пусть бы он попросил автоинспектора...

— Просил, так тот и слушать не хочет — упирается! Говорит, что

рано еще возвращать, пусть, дескать, проспится хорошенько... Вот олух, а?

— Кто олух? — смеюсь я.

— Я сам олух... Кто же еще!

— Да-а, ситуация... Значит, и мне придется на базу ехать?

— Ты как раз останешься тут, у бабки. Ежели бобры есть, так надо же их ловить. Подождешь день-два, а там и батяка вернется.

— Невесело...

— Не один же будешь... Маржу Малинин привез!

— Что?

— Сучка тут есть у нас... Малинину из Москвы привезли по его заказу, по знакомству, словом... Утятница отменная. Медали даже имеет. Так что и на бобров должна пойти... А морда — глаз не отвести! Ступай погляди на нее — в кузове лежит.

— Ну и Малинин — не похвалился даже! А что за медали?

— Одна золотая, конечно... И одна бронзовая. Породистая, одним словом, собака.

Петька трусцой побежал к машине, обогнал меня.

— Злая она? — тихо спрашиваю у Петьки.

— Нет, совсем не злая. Ручная, меня уже слушает... Маржа!

Из кузова высунулась и ткнулась чуть ли не в лицо Петьке лопухая, пучеглазая, с кучим хвостом волкодавина. Страшилище! Такую собаку, признаться, я никогда еще не видал. Ничего себе собачища — за одну морду можно медаль дать.

Петька щелкнул цепочкой. Маржа даже не сошла с места, не выскочила из машины, нет! Аристократка: ждала, чтоб откинули борт. И мы вынуждены были это сделать. Маржа осторожно выбралась из кузова, облизнулась и побежала к воде. Немножко полакала, помочила отвислое брюхо — недавно только как ошенилась — и вернулась к нам. Вся она прямо горит — рыжая! И только на груди и на лбу белые пятна. К тому же еще она и кучехвостая, эта Маржа! Вот уж привидение!.. Знаю, кучехвостыми не шенятся, хвосты собакам обрубают, — недаром говорится, что мода требует жертв. Будь Маржа с хвостом, так еще подумали бы, давать ли ей медали.

Доверчивая Маржа, что и говорить. Ластится ко мне так же, как и к Петьке. Что ж, посмотрим, как на бобров «пойдет» эта рыжая медалька. Конечно, соображала бы она так, как Джульбарс, и нам бы никакой другой собаки не нужно.

Я несколько раз подводил Маржу к ловушкам с бобрами. Она осторожно нюхала зверей, и взгляд ее был очень серьезный — просто-таки обнадеживающий взгляд!

Как только стало темнеть, вернулись рыбаки. Мы с Петькой только что управились с бобрами: пересадили их из ловушек в одну клетку — трех вместе, так как все они из одной семьи.

— Ну, и как Маржа? — Малинин прищурил глаз, смеется. — Что скажешь? — Подошел, отдал мне шуку. — Думаю, что она и Мирту Ни-

китову перещеголяет! — Достает из саквояжика кусочек сахару. — Маржа, служи! — приподнял сахар вверх.

Маржа стала на задние лапы — обрубок ее хвоста лихорадочно задергался. Маржа достала сахар, опустила наземь, легла и начала не спеша лакомиться...

Вскоре были в деревне.

Петька не стал задерживаться: как только сняли с машины запасные клетки, поехал на базу. Малинин остался с нами, чтобы пойти завтра на реку и испытать Маржу, оценить ее охотничьи достоинства.

Бабка дождалась невестку. Оказывается, Маня приехала на нашей полоторатонке. Шла она от шоссе с малышом на руках. И вдруг машина ее догоняет, останавливается...

Рада бабка Авгинья. А тут еще Малинин радости прибавил:

— Приедем из Москвы, а там и сенцо ваше перевезем. И не надо упрашивать бригадира.

— Да я уж вам, детки мои родимые, и заплачу... Я вас ой как отблагодарю, ежели это все правда.

— Не верите разве? Вот жалко, что поехал мой шофер — сегодня бы ваше сенцо перевезли...

Маня успокаивает свекровь:

— Мама, они же правду говорят — привезут сено. Люди эти добрые, не чета вашему бригадиру.

Старуха смеется, шурит глаза.

— Так я и сама вижу, что они, люди эти, добрые, хорошие... А может, им времени нету, может, они своей работой перегружены вон как!

— Все сделаем... — говорит Малинин и смотрит на Маню, словно сговор какой начинают они против бабки Авгиньи. — Вы лучше скажите, что вам из Москвы привезти?

— Из Москвы? — переспрашивает старуха. — А что ж вы, мил человек, привезете? Оно все, что мне надо, и в нашем сельмаге есть. Вот, может, Манька, невестушка моя, чего хочет, так вы и купите там, в Москве, а я деньги дам... Заказывай, Манька, что купить!

Старуха направилась к сундуку. Маня заговорила, и она остановилась, чтоб послушать невестку.

— Нет, мама, нет... У меня тоже все есть, да и Витька обидится... Вы же знаете, какой он — любит, чтоб все покупалось только при нем, вместе чтоб...

— А и неправду ты говоришь... Какое дело ему до бабьих покупок? — Старуха вопросительно смотрит на невестку. — Так ты, это, Манька, правду говоришь или смеешься?

— Правда это все, мама.

— Вот я ему, ежели приедет, задам! Я ему покажу, научу его... — Она попыталась улыбнуться, но улыбки не получилось.

Маня старается возле печи, на загнетке. Куски шуки сует в муку, обваливает их мукой со всех сторон и укладывает на горячую сковороду. Авгинья пошла укладывать спать своего внучонка Вовку. Малинин с от-

цом сидят в углу за столом, что-то все планируют, — конечно, надеются на Маржу, что она не подведет и что все пойдет, как и должно быть. Главное, теперь будет кому выгонять бобров на воду из нор.

Я понес Марже ужин. Но она не стала есть утреннюю молочную за-тирку. Только понохала и недоуменно взглянула на меня, как будто хотела сказать: «Что это ты мне подсунул? Сам ешь, миленький, такое кушанье!» Что и говорить — аристократка!

...Спать улеглись на полу, устланном соломой. Легли впокат, как говорила бабка Авгинья. Каждому воля — хоть качайся на полу, просторно!

Что-то бесконечно долго скреблось за шпалерами, настойчиво скрипел где-то под полом шашель, не стихал за печкой сверчок. Я слушал таинственные шорохи, свистелочки и дудки и удивлялся: сколько здесь, в этой бабкиной хате, давнего, давным-давно минувшего! Еще ведь дед бабкин строил ее, эту хату. А стоит вот, и надо же — напомнила мне орган своими чудесами. Недаром же бабка Авгинья признавалась, уверяла даже, что никак не может заснуть в чужом месте, у чужих людей — никак! Оказывается, все эти скребуну-музыканты, сверчки да шашели и в самом деле убаюкивают, убаждают старуху, веселят ее короткий сон, тешат душу. Она жила со всеми этими звуками, не может без них... Иначе, с чего бы это ей не спать в чужой хате да еще на перине под пуховым одеялом?..

Малинин рассказывает Маню, где она и что делает. Маня неторопливо рассказывает ему про себя и про свою работу. Хвалится мужем. Хвалится, однако, пока не засыпает старуха. Потом и Маня и Малинин перешли на шепот. И я слышал, как Маня жаловалась:

— Бьет... Ни за что ни про что бьет. Знала бы, так и не связывалась бы с ним. Я, правда, не любила его — с горя все случилось... Да уж вам можно признаться, вы же никому не расскажете?

— Нет, конечно.

— И сама вот не знаю, как быть... Может, бросить его?

— А чего вы не поделили?

— Ой, какой уж там дележ...

— Сынок у вас хороший, Маня. Славный бутуз! Попробуй как-нибудь смириться — сыну ведь отец нужен. Не возражай уж очень, когда что... Да и как я могу советовать, ежели толком ничего не знаю.

— Любила я другого. И Витька знает об этом. Правда, его уже в живых нет — разбился... Машина упала с моста. И Вовиком сына назвала в честь Володи... Вот я и думаю: как быть, когда человек нелюб? Что вы посоветуете? Вы ж ученый, лучше жизнь знаете...

Малинин вздыхает. И если первоначально он разговаривал с Маней просто так, от нечего делать, то теперь уже стал жалеть молодуху.

— А что может сказать, как тут быть? Если не любила и не любишь, так что уж поделаешь... Конечно, сразу бы следовало все это сказать ему. А теперь далеко зашли — сын же у вас есть!

— Боялась и боюсь такое говорить — одна ведь я, сирота... Так, может, пусть все так и будет?

Малинин ворочается.

— Если чувствуешь, что он тебе вмоготу, тогда свыкнись с его капризами, прими его всего душой и сердцем — полюби! И легче станет. Мужчина, знаешь, всегда ждет ласки... А твой видит, что ты чужая ему, и сердится, злобствует от этого. Ревнивец — это же как зверь...

— Все он, наверно, видит, все... Другой же год живем, разве ж не увидит?.. Ой, виновата я сама во всем, сама... Что ж, благодарю... Спокойной ночи вам!

Полежав еще немного, Малинин поднялся, захватил со стола пачку папирос и вышел из хаты.

Маня ворочалась на кровати, вздыхала. Бабка Авгинья всласть похрапывала — спала счастливым сном. Отец мой тоже спал крепко. Я, правда, не спал, но притворялся, что сплю, — не хотел, чтобы Маня знала, что я слышал ее исповедь.

АХ, МАРЖА, МАРЖА...

Норы свеженькие, кажется, только что выкопанные. Бобров, конечно, «заперли». Один из них не усидел — показался из норы, подошел к ловушкам и, почуяв неладное, снова спрятался в свои хоромы. Видать, бобры тоже начали хитрить — собрались было убежать, но поздно!

Маржа, несмотря на то что и медалистка, а в бобровую нору не захотела лезть. Куда там! Ее силком не втолкнуть. И Малинин мудрит: сухариков в норку положил, кусочки сахара. Но Маржа, по-прежнему оставалась верной своим принципам, не поддавалась нашим уговорам. Одним словом, она не оправдала наших надежд. И теперь мы старались, как бы там ни было, а поймать бобра — и чтоб на глазах у Маржи. Пусть посмотрит, что это за зверь; может быть, тогда поймет, чего мы от нее добиваемся.

И поймали. Двух даже. Маржа, правда, мирно обходилась с бобрами — лизала их шерсть, обнюхивала и только не лаяла, не ворчала, когда Малинин пробовал науськивать ее...

Возвратились мы на квартиру с двумя бобрами, но не очень веселые. Маржу я уже не брал на привязь — она не интересовала нас.

А потом я проводил отца и Малинина на шоссе, к автобусу. Поехали они в Москву на какое-то важное совещание.

Остался я один, если не считать двух бобров и Маржу — такое мое хозяйство. Сучку и не думал привязывать — пусть бездельничает себе, куда она денется? Хотя, признаться, лучше бы она убежала куда или даже чтоб кто-нибудь украл ее — крадут же собак!

Маржа забралась в сарай, улеглась на ватник. Но спала она, пока мы не ушли из дому, — я помогал бабке Авгинье получить зерно на трудодни. Были с нами и Маня с Вовиком.

Надо же, как раз в это время Марже захотелось поохотиться...



Я первым вернулся домой. Ступил на двор и аж ахнул — возле сарая усердствовала Маржа: душила курицу, а вокруг нее уже лежало несколько задушенных...

Маржа увидела меня — радуется. Обрубок ее хвоста дрожит, готов оторваться. Маржа, довольная, смотрит на меня так, будто хочет сказать: «Ну, вот видишь, какая я усердная, старательная! А вы отвернулись от меня...»

Не стал бить, да и некогда было: надо немедленно что-то придумать, иначе, если бабка все это увидит, быть неприятностям... Страшно обидится да еще и из квартиры, чего доброго, прогонит. Нет уж, за убытки пусть Малинин отдувается, а я... Я быстренько пристегнул сучку на цепочку, отряхнул с ее носа перья, а кур перенес за сарай и разбросал их там возле погребка: шито-крыто!

Бабка Авгинья под вечер только спохватилась — куры подушены!

— А детки ж вы мои, а кто-то ж наших курочек отравил... А что ж это за напасть такая?! Или мор какой напал на них...

И я и Маня пошли вслед за Авгиньей на огород.

— Мама, это ж хорь их подушил! — Маня рассматривает петуха. — Глядите, шея вся и грудь изжеваны. Хорь тут у вас завелся!

— Или даже лиса в огород забралась — кусты рядом... — начал я несмело.

— Это ж, мои вы детки, и правда хорь... Такой маленький выродок, а сильный да жадный, как волк... Всех моих несущек перевел и петуха... — Авгинья старательно обследует каждую курицу, даже нюхает — не пахнет ли чем. — Ай-ай... Были бы вот дома, так хоть бы слышали, как куры кричат, не дали бы столько задуть, уберегли бы которых... Куда ж нам их теперь? Можно ли их есть?

— Можно. Они же не сами подошли, не от болезни, — объясняю я.

— Холера, надо же — всех перешерстил! — беспокоится Авгинья. — И время выбрал — как раз же, когда все из дому ушли...

— Вот поеду и куплю я вам, мама, других несущек, — говорит Маня. — Не переживайте так сильно, не большое это горе — куры...

— Что ж теперь мне с ними делать — засолим разве? — Старуха недоуменно смотрит на невестку.

— Засолим. Будем варить да есть, если уж так случилось.

— Ай, да все молодые... Вот эта вот так по два яйца в день несла... — Старуха снова берет в руки курицу — ту, с которой Маржа при мне расправлялась. — Да еще тепленькая...

Ощипывали кур почти весь вечер. Я помогал тоже. И Маня шутила, посмеивалась надо мной:

— Видно сразу, что дома не щипал, да? Так вот хоть тут научишься — будешь знать, как кур щипать, — и как-то искренне, хорошо смеялась.

Мне нравились ее шутки. Нравился ее смех.

Через открытое окно слышно было, как стучат поилками бобры — хлевушок звенит. В хате душно. Я долго прислушиваюсь к шуму, под-

нятому бобрами. Чем же они так взволнованы, обеспокоены? Вышел посмотреть. Догадался чем — пролили воду и просили свежей. Налил воды, поставил поилки так, чтоб не сразу можно было их перевернуть. И уже хотел идти в хату, как в сарай вошла Маня.

— Удрал, что ли? — спрашивает она обеспокоенно.

— Нет, не удрал.

Робкий свет фонаря еле освещал сарай. Тени наши причудливые, движущиеся, огромные — во всю стену. Вдруг ее тень качнулась, приблизилась к моей.

— Приподними крышку — погляжу, как они тут, ночью... — просит Маня и смеется.

Я подхожу к клетке, чуть приподнимаю крышку — смотри себе, смотри сколько хочешь, Маня.

Я слышу ее ровное дыхание. Вижу ее трепетную усмешку. Маня ждет, надеется, что бобры начнут вытворять что-то особенное, а может даже, и убежать попробуют. Но бобры затишли. Один из них, упершись носом в продолговатую жестяную поилку, посапывает и жмурится — свет беспокоит его.

ЛИВЕНЬ НА СКЛОНЕ ЛЕТА

Сегодня отец шутит и веселится. И только завтра его удаль поутих-нет, настроение спадет...

Мы сидим на берегу Сожа под шатром великана дуба, пируем. Мы — это батька, Иван, зять наш (до этого работал на смолокурном заводе), и я. Возле нас крутится Шарик — собака, которую неделю тому назад купили у пастуха. Шарик, оказывается, гонял бобров настойчиво и упорно — под водой даже их чуял, не то что в норе или в хатке. Втянулся он в это занятие так, что даже хозяину своему надоел, и тот с радостью нам его уступил, когда узнал, что мы ему тут же хорошо заплатим.

И действительно, Шарик был не пастух. Он словно прирожденный бобролов: и ростом маленький, и характером настойчивый, и трудолюбием не обижен. Приобрели мы хорошую собаку. Тут уж и правда — на ловца и зверь бежит...

Эх, не было бы дождя, разве сидели бы мы без дела? А так вот поставили шатер, разостлали брезент, уселись под дубом... И день уже на исходе, а дождь все не унимается, все льет.

Дождь для бобролова — одно лишь беспокойство, муки.

— Чарочка-каток, катись-ка в роток! — И отец выпивает. Ставит кружку на чеходан, который служит нам столом. Закусывает хлебом и малосольным огурцом. — Ну, гаврики, ежили боитесь холода, глотните чуток, чтоб простуда не пристала... — и дал Шарiku остатки колбасы, не замечая того, что Иван собрался уже закусывать этой самой колбасой.

— Ну вот... — начал Иван. — А закусывать чем?

— Возьми огурчик. — Отец смеется. И уже к Шарику: — Тебе же небось огурец не подойдет? Правильно я говорю?

Шарик завил хвостом, подполз ближе к отцовской руке, дотронулся до нее носом, и отец стал гладить собаку.

— Ничего, друг, тебя я в обиду не дам. Мы будем жить душа в душу... Мы много чего должны понимать: и этих вот балбесов, — кивком головы показал на нас, — и тех, что в берегах скрываются... Только бы дождь перестал... Льет как из ведра. Три дня так побарабанит — и суши лапти. Не видать нам тогда плана, как своих ушей... — Отец передернул плечом. — Дожди! Недаром меня ломило всего, гнело — знал: будет ненастье. Чуют мои раны непогоду, чуют... Так что свой барометр!

Неожиданно для нас отец запел:

Под корнями дуба — бобры ведутся-я-я,
А в середине дуба — яровые пчелки-и-и,
А над дубом — всё ясные зорьки-и-и...

Иван начал подшучивать над отцом:

— Ну, тата, теперь вам только на вечеринку...

Но отец не оборвал песню, допел:

Будем бобров бити да шубочки шити-и-и,
А пчелок морити да мед-вино пити-и-и,
А ясные зорьки будут нам светити-и-и... Эх!

Я подскочил с места — такую песню еще никогда не слышал. Ну и отец! А ведь дома он не пел ее, а только всегда «Хаз Булата»... И вот на тебе — такая чудесная песня!

Иван не умолкает:

— Сошьешь шубочку, как бы не так... Потом и шубочки не захочешь, не до ясных зоречек будет... Это уж точно!

— И чудак же ты, чудак... — смеется отец. — Из песни слова не выкинешь! Значит, давняя эта песня, стародавняя! Когда-то, выходит, предки наши шили шубочки из бобра, коли в песнях о них поется... Откуда песня идет? Из жизни, так? Смотри вот, все в ней, в песне этой, верно. Не где-нибудь, а под корнями дуба бобры ведутся — в лугах, значит... Аль не так? Верно! И шубочки, значит, бобровые были... Вот разведем бобров — и снова мода на такие шубочки возникнет...

— Тата, откуда у вас песня такая? — перебиваю я отцовы грезы.

— А кто ж ее знает, откуда-то вот взялась... Из души, из середка, — философствует отец.

— Так, может, новая песня из души выплывет? — не отступаюсь я.

— Нет уж, петь неохота. Сейчас бы поиграть... Одной бы рукой, вот тут, на берегу... Вы ж, балбесы, играть можете, а гармонь не взяли, дома оставили. Небось не забыли про огурцы... Или ты, — обернулся он ко мне, — купил ерунду эту — фотоаппарат. Носишься с ним, как кот с жилой, надеясь, что мясо ухватил: и бросить жалко, и глотать муторно...

Ну скажи ты мне, когда я могу карточки получить? — Отец посерьезнел. — И чему вас в школе учат?!

— А всему понемногу... — смеюсь я.

— Но ты просто удивляешь меня... Вот занялся бы чем-то дельным: учиться и любить что-то такое, чтоб надежное и чтоб оно, конечно, тоже главным было... А то — фотоаппарат... Деньги только транжирить! Говорил же я тебе: не покупай фотоаппарат, а скрипочку давай купим. Так нет! Дед же твой знаешь как на скрипочке играл! Она в его руках плакала, скрипочка та. Вот я и думал: разживусь на деньги — куплю скрипку. А война переначила все — мне скрипочка не понадобилась для одной руки... Хоть бы из вас, моих детей, который заикнулся: «Тата, купи скрипочку...» Так нет, ни один! А ты, — отец огорченно смотрит мне в глаза, — ты просто обижаешь меня. Не то что на скрипочке, а на гармошке ленишься играть... Надя младшая, а смотри — обогнала тебя, все танцы уже играет. А ноты читает как! А ты, ежели начинаешь играть, то слушать невозможно — пиликаешь себе под нос...

— Что ему гармонь или скрипочка? Ему бы бубен и барабан! А сыграет, если что такое, и другой кто. Он под готовую музыку побарабанит... — Иван старается, подыгрывает отцу. — Бубен не гармонь — покупать не надо: натянул свежую шкуру на круг, высушил — и готово.

Но я по-прежнему смеюсь.

— Смешно тебе? — обиженно спрашивает отец. — А вот куда ты, подумай, когда школу окончишь, пойдешь? На учителя, знаю, не согласен. Да и род наш не такой, чтоб в учителя идти. Вот если бы на лесничего выучился — это было бы дело! Подумать только, еще и семилетку не окончил, а он уже в песни ударился, ха! Пустое это дело — песни. Знай это. Так вот я и думаю: не слушайся матери, а подавайся, как семилетку осилишь, в техникум на зверовода, как Малинин советует...

— Бобров же я и так, без техникума, ловить умею.

— Не вечно будем их ловить. Заселим Сибирь нашими бобрами, а там кто знает, как оно будет... Может, снова станем быкам хвосты накручивать...

— А что, не пропаду и с быком! — не сдаюсь я, отшучиваюсь.

— Ты вот, храбрец, не заносись очень-то, — замечает Иван, но уже серьезно. — Надо тебе на офицера идти, ведь нигде ты такой заботы не найдешь, чтобы одевали, кормили и учили... Эх, если бы мне, кажется, твои годы — и минуты не раздумывал бы: окончил бы десятилетку — и в военное училище, в танковое...

— А что — в офицеры можно! — соглашается отец. — Вот уж мне тогда сапоги яловые подкинют — военные, носки!

— Да он, когда пробется в офицеры, и гимнастерочку раздобудет для отца, и галифе диагональные, с кантиками! — язвит Иван в мой адрес.

— Вот-вот. Люблю военные гимнастерки — шьют их толково... Штатские сорочки что на животе, то и на груди — хоть шаром покати: ни складочки, ни впадинки — ровненько... Пусть бы карманы такие пришивали, как у военных, так хоть зажигалку было бы где носить...

Проснулся я, когда завтрак был уже готов (кухарил Иван, его черед). Помешивая деревянной ложкой вермишелевый суп, он бормотал себе под нос знакомую песню о трех танкистах.

Отца не было. Я знал, что он сейчас где-нибудь в лугах, выискивает бобровые озера. Признаться, не помню еще ни одного утра, чтоб так вот проснулся, а отец лежал или сидел в ожидании завтрака. Впрочем, и сегодня он, вижу, немало поработал... Пока Иван кашеварил, отец принес из лозняка отменную «кривую» — упругую, с выгибом возле комля, длинную хворостину, взамен той, которую мы где-то забыли. «Кривая — одно из необходимых орудий труда бобролова. В нашей бригаде «кривая» принадлежит только мне. Она, если можно так сказать, мои глаза и руки. Особенно теперь, когда вода мутная от частых дождей и дно реки не просматривается.

У каждого из нас как-то уж сами по себе определились обязанности. Отец с Шариком обследует берег. Их задача: почуять бобра и предупредить меня. Иван должен, ничем не нарушая тишину, вести лодку плавно и тихо, а я тем временем обязан обследовать незаменимой «кривой» подводный берег реки — как бы «прочитать» и выявить все его тайны, отыскать замаскированные входы в бобровые хоромы. А потом так их перекрыть, чтобы ни один бобр не миновал ловушки, не отбил ее в сторону. Всех ловушек двенадцать. Столько можно поместить в лодке. Но обычно бывает так, что пять-шесть ловушек заняты — в них отловленные бобры, за которыми машина, скажем, придет на другой, а то и на третий день. И мне приходится мудрить, комбинировать, обходиться двумя-тремя ловушками, а то и одной... Надеяться на успех можно после того только, когда окончательно уверишься, что все бобровые «перспекты» и тайники перекрыты и что деваться ему уже некуда...

Завтрак готов. Но я пока не стал есть, решил искупаться. Прыгнул с берега в Сож — назло Ивану, можно сказать. Он ведь никогда еще, как я знаю, вот так, по своей воле, не купался, хотя и вырос на воде и теперь весь день тоже на реке. Он такой. Даже когда блесну зацепит за корягу, то скорее оборвет ее, чем полезет в воду, чтоб достать. Перевел было все блесны Малинина, и теперь тот уже не оставляет спиннинг, забирает с собой.

Сож очаровал меня. Над голубой таинственно-трепетной гладью кудрявится сизый туман, окутывает наклоненные над рекой вербы, цепляется за вершины прибрежных кряжистых дубков. Густой веер солнечных лучей напоминает золотые струйки тихого, беззвучно-очистительного дождя...

Вскоре я услышал мерный звук мотора. Этот звук постепенно нарастает и переходит в рокот — и чем ближе, тем более резкий, неотступно-настойчивый.

— Кончай купаться, вылезай! — говорит мне отец, идучи по краю надречного глинистого обрыва.

Что ж, если уж он говорит так, значит, надо думать, есть у него какой-то интересный план, которым сейчас вот и поделится с нами. Мы примем этот план как должное и обязательное. И не более чем через полчаса постараемся быть готовыми на любые переходы — это если отец разведал озерышко с бобрами и надо отправляться туда без лодки.

— Разварилась что-то твоя вермишель, Иван, — наливая в миску суп, говорит отец. — Затирку ты сегодня готовил или что? К тому же суп холодный...

— Где ж вы слонялись полдня? — лежа, с ленцой спрашивает Иван. — На все есть своя пора... — Сам он, конечно, давно уже поел и даже покурить успел.

Мимо нашего бивака протарахтела вверх по реке лодка бакенщика. Иван — что это с ним? — даже пробежал чуть по берегу, не отрывая глаз от лодки. Вернулся и сказал:

— Точно такой мотор у брательника моего... Магнето бы только — и будет моторка!

— Магнето? Так оно есть у нас. Валяется в погребне¹. Разве не видел? Правда, контакты сбитые, но их легко заменить.

— Серьезно? Тогда считайте, что мотор есть! Винт я сам сделаю — отолью из алюминия. — Иван спустился к воде, прошел в лодку, сел на корме и все прикидывал, как и где прилаживать мотор. — Вот что, — начал он, — отпустите меня домой — через два дня мотор привезу.

— Можно, конечно... Но чтоб с пустыми руками не возвращался! — Отец, оказывается, тоже верит в Иванову затею. — Значит, быть нашей лодке моторной, да?

— Так я могу отчаливать? — не терпится Ивану. Он вышел из лодки, стал у костра. — Сегодня и дома буду... А завтра в Чериков съезжу к брательнику, мотор заберу.

— Не-ет, так не пойдет, — возражает отец. — Сначала мы обобмим озеро, которое я наглядел, а уж там, когда Малинин подъедет, посмотрим, что делать дальше. Ежели десяток ден каких осталось поболтаться, то и без мотора управимся. А на следующий год сообразим мотор — и все бобры наши! Пусть вот Малинин приедет, узнаем, сколько на базе бобров и сколько еще надо ловить, чтоб на отправку хватило, а тогда и станем планировать... Малинин с нами будет, а ты с Петькой мотором займешься, так?

— Пусть себе и так... — упал духом Иван. — Только сейчас я не сяду рулевым, пока не поставлю в лодку мотор, — сказал он, как отрезал.

— Об этом лучше вечером поговорим, не горячись... А теперь — айда! — дает команду отец. — Недалечко отсюда паром, там мы и оставим лодку со своими шмотками. И Малинин не минует, ежели на озере задержимся. Паромщика предупредим — он ему и скажет, где будет.

Отец не сел в лодку, пошел пешком к парому.

Иван все-таки решил остаться верным себе:

¹ Погребня — пристройка к погребу.

— Ну, теперь вези меня, а я тебя — когда поставлю мотор... С ветром буду катать! И только не сердись — по течению и щелка плывет... — Он явно насмеялся надо мной, думал, что я не справлюсь с лодкой.

Я уселся на корму.

Тихо, но лодку гоню. Течение, правда, помогает. Иван полулежит в носовой части лодки на брезенте и размышляет:

— Вот увидишь, мотор достану. Не удастся свой собрать, так у Яшки Рубана тарактелку его заберу. Ему этим летом она все равно не понадобится.

— А где же его лодка? Была ведь, кажется, и неплохая... — спрашиваю у Ивана.

— Была да сплыла... За Старой Толкачевкой нашел он ее с прорубленным днищем. Кто-то здорово поиздевался... — Иван лучше улегся на брезент, закинул руки за голову. — Эх, с мотором заживем мы здесь!..

Отец, пока мы плыли, пожалуй, вволю наговорился с паромщиком. Они сидели возле шалаша, покрытого порыжелым сеном, курили.

Причалил я как раз там, где паромщик берет воду. Склон берега отлогий. Иван прыгнул на берег, лодку втащил как можно дальше на сушу, чтоб при разгрузке не так качалась.

Вскоре он надумал поить бобров.

— Может, мы поздно вернемся... А так вот попьют — и пусть себе радуются...

Я выкопал недалеко от шалашика продолговатую яму. Поместили в нее всех шесть бобров; поставили ловушка к ловушке, укрыли сверху ветвями, хворостом и сеном — спрятали зверьков от солнца и дождя.

Паромщик со вставным глазом и беспалой рукой (конечно же, послевоенный «минер», о чем он — я слышал краем уха — и рассказывал отцу) то и дело обращался к нам:

— Хлопцы, походим на танцы, а?

— Походим! — весело отзывался Иван.

Я незаметно разглядываю паромщика. Из левой глазницы, где сидит искусственный глаз с голубоватым зрачком, ежеминутно катятся слезы — одна за одной, как бусинки. Паромщик терпеливо вытирает их платком, который не засовывает в карман, держит в руке.

Отец сочувственно спрашивает:

— Чего ж это слеза так бежит? Непорядок с глазом — гляди, браток, покажись доктору...

— Обморгается. — Паромщик как-то беззаботно хохотнул: — Гых-ха-ха-а... — Потом признался: — Купаться вздумал, значит... Так глаз-то мой и выскользнул было, шельма, в реку. Упал между пустых раковин — блестит, значит, перламутром переливается... Если бы в колдобине какой, где, скажем, стоячая вода. А в Соже, значит, на дне такая крутоверть, что ничегошеньки не разобрать... Ищу, ищу — а нету! Тогда, правда, как-то удачно нырнул — нашел. Достал свой бинокль!..

СИНЕЕ ОЗЕРО — БОБРОВЫЙ РАЙ

Озеро окружали дубы. А сплошь по берегу, у самой воды, густо кустилась лоза.

— Без лодки тут мы не сладим, — заявил Иван. — Распугаем только бобров... Может, какой простачок и перепадет, а на большее рассчитывать нечего.

— Вот-вот, с лодкой, конечно, и простачок может поймать бобра. А вот подскажи-ка, спец большой, как нам без лодки обойтись?..

— Портки снимать придется, — невесело говорит Иван. — Иначе тут никак и нельзя...

— Вот ведь антихрист — знал, выходит, как ловить, а молчал, не признавался. — Отец смеется. — Уж так и быть, штаны тебе не придется снимать — твои белые ноги далеко будет видно, можешь бобров напугать.

Я тоже смеюсь. Иван молчит. Но вот он кидает окурок на воду, улыбаясь говорит:

— Плавал бы я вот так, как недокурочек этот, тогда бы, конечно, не побоялся глубины. Но я, клянусь вам, как обух плаваю... А вообще-то не я ловушками занимаюсь. Норы обставляет вот он, — показывает на меня. — Это его занятие. Я гоняю лодку. Шкипером тут я. Вот так.

— Какой же ты шкипер? Я же сам видел, как ты в лодке спал.

— Хорошо. Буду гонять лодку. Все буду делать, а только в студеную криницу эту не полезу...

И вправду, вода в озере как лед. Тут уж Иван прав. Признаться, я не ожидал, что таким оно холодным окажется — не иначе ключи со дна бьют. И наверно, много ключей! Вода едкая — аж сжимает всего! Выходит, и у холода есть свои механические силы, не только у тепла.

— А ты думал! — торжествует Иван. — Озеро это не так себе чистое. В нем же, взглядишь-ка, дна вовсе нету... Улепетывай на берег скорее — околеешь... — И торопливо подает мне очередную ловушку, сочувствующе смотрит на меня.

Отец надумал обрубить лозовую навись, что густо раскинулась над водой. Иван поддерживает его в этом направлении. Но я останавливаю их прыть — дескать, все бесполезно: под водой лозняк еще побольше и его уж никак не обрубить...

— А, будь что будет! — решает отец и отпускает собаку.

И вот результат: из пяти бобров, которых Шарик вытурил из этих самых нор, не миновал ловушки только один.

— Нет, хлопцы, — возбужденно говорит отец, — коли знаем, что бобры есть, и не один, а четверо, то надо их всех забрать. Тут уж им некуда деваться, озерцо маленькое...

— Пусть стемнеет, — перебивает его Иван. — Так все они в Сож перебегут, по сухому...

— Не-ет, от нас им не так-то просто убежать, — заключает отец. И Шарiku: — Правда, Шарик? Мы с тобой при озере будем.

— Кто при озере, а кто и при лодке... — Иван улыбается.

— Ты — да, будешь при лодке... Бери-ка бобра и ступай обед вари. А Малинин подъедет, так сюда его присылай. Мы останемся, попробуем гонять беглецов этих.

Иван, немного помолчав, обиженно сказал:

— Не принимайте вы, тата, все, что я болтаю, всерьез. Пристрастился на заводе поддразнивать всех, так и здесь вот никак не отвыкну... Это ж что получается: если я так говорю, то я — несусветный бездельник?

— И не так, и не так... — произносит отец. — А коли говоришь, так слушать приходится — уши не заткнешь... Словом, неси бобра.

Иван ушел.

Никто из нас уже не лез в воду — обставляли нору с берега. Бобры легко обходили ловушки, не давая нам как следует приспособить их на ходах. Но вскоре мы убедились в том, что бобров не стало в озере — словно растаяли.

— Вот это загадка, — удивляется отец. — Куда ж они могли подеваться? Шарик даже не находит... Неужто у них тут глубинные норы есть?.. Надо искать...

Меня заинтересовало соседнее озерцо. Оно, правда, не такое привлекательное, как это, Синее, но и там весь берег в проломах.

— Может, в эту колдобину соседнюю перебрались как-нибудь? — неуверенно говорю я. Смотрю на отца, жду, что он скажет. Знаю, что по суше бобры днем не пойдут.

— Я и сам так думал, но нигде же следов не видать... Пусть бы который надумал высунуться из воды, то Шарик бы враз почувал...

И как раз в это время послышался голос Малинина.

— Э-а-а-э-э! — кричал он где-то возле парома.

Отец откликнулся. Впрочем, никто из нас не умел так тянуть это «э-аэ» так громко и залиvisto, как Малинин.

— Перекур, — как бы сам себе сказал отец. Он снял с головы свою видавшую виды фуражку с помятым козырьком, зачерпнул воды и стал пить, подняв фуражку надо ртом.

Малинин был не один. Шли с ним Петька и незнакомая женщина. Шарик залаял, увидав людей, но мы его не стали останавливать — пусть привыкает к своим.

— Полай на них, хорошенько полай! — смеется отец над Шариком.

Поздоровались. Шарик тут же затих и, получив от Петьки гостинiec — кусок жареной печенки, принялся снова искать бобров.

Вскоре все мы сидели у озера, и Малинин говорил:

— Вот здесь бы лето провести, а? — И к отцу: — Выбрал ты заманчивое местечко, а я спиннинга не взял, хоть беги сейчас... Здесь же рыбы, рыбы!.. Ставь палатку и живи!

Ольга Романовна — так звали женщину, которая, оказывается, была у Малинина за бухгалтера, — смеясь, сказала:

— Поздно надумал — дожди прогонят в Москву.

Малинин, как бы спохватившись, говорит отцу и мне:

— Все ваши бобры пойдут сверх плана... Знаешь, Герасим, только вы и оставались на реке. Все уже неделю тому назад закончили лов; уже даже расчет получили. Так что и твой черед настал...

Что это? Слышен Шариков лай на соседнем озере. Отец вскочил, устался на меня.

— Бобров Шарик нашел, слышишь? Как же они там оказались?

— Как? — смотрит на нас Малинин. — Очень просто: подземным озером.

— Каким еще озером?

— Паромщик сказал, что где-то здесь подземное озеро.

— Подумать только — подземное озеро!.. Вот это местечко для бобров — лучше и не надо, — рассуждает отец вслух.

— Считайте, бобры вас здорово околпачили... Жить им здесь всегда! Мы возвращались к парому, и отец всю дорогу не переставал удивляться — это ж такое место выбрали бобры!

За обедом паромщик подтвердил свои слова многими доводами. Мы ему, конечно, поверили. Все именно так и есть: Синее озеро соединяется с Сожем большим подземным озером.

А через какой-нибудь час наша машина была уже на шоссе и мчала нас в Чериков на базу.

БЕДСТВИЯ БОБРОВОГО ПЛЕМЕНИ

В Российской империи охота на редких зверей и птиц официально считалась запрещенной. Однако на бобров охотились всегда. Правда, потихоньку, нелегально. Ценный мех этого зверя скупали зарубежные коммерсанты — платили чистым золотом. И поэтому поставщиков хватало — отлавливали бобров повсюду, зимой и летом...

Вымирающий промысловый зверь — такой приговор был вынесен бобру. И правда, его варварски истребляли... К концу XIX столетия осталось всего несколько бобровых поселений в Белоруссии да на Северном Урале, где зверьков оберегали местные жители, не показывали их поселения приезжим промысловикам-охотникам.

Белоруссия издавна славилась бобрами. Среди помещиков и местной шляхты считалось за честь разводить поблизости своих имений и усадеб — в озерах и даже в прудах — бобров с темной окраской. Русские богачи специально приезжали в Белоруссию, чтоб купить живых бобров. Так в 1886 году принцесса Ольденбургская завезла в местечко Рамонь Воронежской губернии пять березинских бобров. Принцесса страстно увлекалась охотой, содержала в своем имении богатый зверинец с редкими зверями и птицами. Белорусских бобров она приказала выпустить в маленькое озерцо, которое предварительно было обнесено частой металлической сеткой. Но бобры не захотели жить за проволокой и в первый

же паводок исчезли — перебрались в реку Усмань и постепенно начали обживать ее притоки.

Известно, что в Киевской Руси бобры были государственной собственностью. Кто убивал зверя без разрешения и попадался на глаза служителям закона, того строго наказывали. Бобрам, однако, от этого было не легче, их по-прежнему истребляли. И не только на Руси.

Раньше чем где-либо бобров не стало в Англии, которая затем превратилась в одного из наиболее активных покупателей бобрового меха и бобровой струи, как и Франция, и ряд других стран. И только Америка продолжала поставлять на международный рынок большими партиями мех канадского бобра. Раньше в Канаде были также и белые бобры (еще в 1820 году их мех регулярно поступал на рынок; французские купцы оценивали его в три раза дороже темного). И потом уже, когда белых бобров полностью уничтожили как вид, на мировом рынке первенство занял европейский (русский) бобр с черным мехом.

В странах Западной Европы долгое время держалась мода на бобровые шляпы, которые назывались касторовыми (от латинского слова *castor* — «бобр»). Изготавливались такие шляпы из бобровой шерсти и будто бы излечивали хронические головные боли, благотворно действовали на память и т. д. Многие русские торговцы стремились поставлять не мех, а бобровую шерсть, куда часто подмешивали кошачью, и это обусловило падение цен на подобный товар.

Охотились на бобра не только из-за отменного меха. Так называемая струя бобровая была тоже на вес золота. Ее считали панацеей от многих болезней, особенно от старости и истерии. В 1685 году вышла даже книга под названием «Касторология», которую написал врач Маринус. И неудивительно, что килограмм струи от русских бобров еще в 1894 году стоил в Германии 1100 марок, тогда как струя от канадских бобров оценивалась всего от 80 до 240 марок. Но уже в 1896 году профессор Манка в книге «Основы терапевтики» решительно отрицает лекарственные свойства бобровой струи. И вскоре спрос на нее в Европе упал. И только у народностей тобольского Севера — вагулов, остяков, ненцев — струя ценилась по-прежнему, но использовалась она уже не в лечебных целях, а для проведения бытовых и религиозных обрядов.

В наше время бобровая струя широко применяется в парфюмерной промышленности — спиртовой экстракт значительно усиливает стойкость духов, содействует высокому качеству их. Если раньше знаменитые французские и английские парфюмерные фирмы пользовались для изготовления высших сортов духов мускусом кабарги, спермацетом кашалота, а часто и суррогатами с запахом, близким запаху мускуса, то теперь уже бобровая струя становится незаменимым компонентом. Что же касается бобрового меха, он, как и прежде, остается в моде... Белоруссия — край голубых озер, кристально-чистых рек, крутые берега которых густо усеяны лозой и вербою, малинником и ежевикой; это край болотных ручьев и рек, где много разнообразной пищи: айру, камыша и — главное в бобровом рационе — осины, кора которой для бобра деликатес.

Как правило, там, где живут бобры, водится много рыбы, которая привлекает внимание выдры и норки. Почему рыба любит бобровые места? Скорее всего потому, что они очень удобны для нереста, а в старых, забытых бобрами ходах рыба может прятаться на дне. В бобровых озерах вода в любой мороз «дышит», пополняется кислородом через береговые ходы и продушины.

Люди издавна были особо внимательны к бобрам. Одни ценили их мех, другие — целебные свойства струи. А многие видели в бобрах разумное существо. Индейцы, например, считали бобров своими сородичами, родоначальниками своего племени. Нередко прирученных бобря кормили грудью — так же, как и своих детей...

То, что бобр, если сравнивать его с другими грызунами, высокоразвитый зверь, еще не значит, что его можно приручить, скажем, так, как собаку или кошку. И все же это один из самых близких к домашним животным и один из самых хозяйственных зверьков. Он никогда не валит на корм деревьев, которые украшают и маскируют его жилище, всегда стремится сберечь кормовые запасы в районе поселения. Только маленькие бобрята имеют право на известную роскошь — отщипнуть сочную веточку вблизи дома и полакомиться ею.

Обычно там, где у водоемов низкие берега, которые весной полностью затопляются водой, бобры строят себе так называемые хатки, и притом многоэтажные, уютные, «вымощенные» необычным «паркетом» — лежбища свои бобры устилают сухими лозовыми стружками. Размеры хаток зависят не только от количества членов семьи, но и от весенней воды: чем выше ее уровень, тем хатки больше. Небезынтересно отметить, что старые бобры (родители) не выпроваживают своих детей в «мир» — они уступают им свое обжитое селище, а сами, если позволяют условия, возводят поблизости новую хатку или попросту расширяют старую (в реках и озерах с высокими берегами копают норы), чтоб вместе с детьми выходить на промысел и на прогулки.

Бобры удивляют нас и такими «инженерными» сооружениями, как плотины для удержания воды. Бобровые плотины можно часто видеть на болотах с небольшими речушками. Они в течение всего лета поддерживают на болоте необходимый для бобров уровень воды.

Обычно там, где мало корму либо водоем загрязненный, бобры долго не задерживаются. Бывает, что в поисках пищи или от перенаселенности бобры решаются на многокилометровые сухопутные путешествия. И хотя у бобра необычайно острый слух, тонкое обоняние и необыкновенная сообразительность, он, безусловно, во время подобных сухопутных путешествий рискует собой: неповоротливый тихоход, беззащитный и легко доступный для нападения, становится порой жертвой волка, рыси или попадает в руки браконьера...

После Октябрьской революции охота на многих редких зверей и птиц в нашей стране была запрещена. Редкого зверя и птицу взяли под охрану. Бобр тоже подпал под этот закон. Вскоре в стране были созданы бобровые заповедники: в Белоруссии на реке Березине (1925), в Воронежской

области на реке Усмани (1927) и на Северном Урале в бассейнах рек Конда и Сосьва, куда в 1929 году подселили еще бобров из Воронежской зоофермы, которая и по сей день является одной из крупнейших в нашей стране.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Ехал я из Славгорода на своем новом «велике», купленном сразу же после отправки бобров, в день окончательного расчета. И как раз с той горки спускался, где я родился. Лечу здорово — сорочка парашютом вздулась, ветер играет за спиной. И вдруг — впереди меня женщина. Идет мне навстречу. А я лечу... Женщина почему-то растерялась: я повернул вправо — и она туда же; я влево подался — и она влево... Тут уж никак не затормозить! Ну стала бы, не бегала так, а то носится: и так, и сяк — прямо под руль норовит... Я снова повернул вправо, а она — кто б мог подумать! — тоже метнулась вправо...

Я не упал. Это удивительно просто — чудом удержался на велосипеде. И она увернулась. И мы не столкнулись.

Я слышал, как хохотали мужчины-телефонисты. Один из них — он был вверху на столбе — даже крикнул: «Вера! Я не знал, что ты так бегаешь!» — и хохотал.

Удача-то какая!

Выходит, что место, где я родился, счастливое для меня. Сказал об этом матери, а она говорит мне:

— Оно ведь, сынок, так и бывает в жизни: где человек родился, там ему всегда будет везти, потому что та земля — его...

Меня радует мать, радуют ее слова, и мне кажется, что я даже как будто подрос немножко — сразу же, после ее слов.

Незабываемое время — детство!



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВЕСЕННЯЯ ТРЕВОГА	3	БОБРОВЫЕ «АПАРТАМЕНТЫ»	74
БЫЛЬ И НЕБЫЛИЦА	5	Я ЖАЛЕЮ ЗМЕЮ	77
КОГО ВИДЕЛ ВО СНЕ ОТЕЦ	10	ЛЮДИ И НЕЛЮДИ	79
НЕОЖИДАННОЕ ПИСЬМО	12	ТРОЕ СУТОК НА БАЗЕ	83
ОХОТА НА ВОЛЧИЦУ	17	ПРИСТАНИЩЕ У БАБКИ АВГИНЫ	89
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-ПЯТИМИНУТКА	26	КУЦЕХВОСТАЯ МЕДАЛИСТКА	92
ОТЕЦ ВСПОМИНАЕТ	29	АХ, МАРЖА, МАРЖА...	97
БОБРОВНИКИ ПРИЕХАЛИ	41	ЛИВЕНЬ НА СКЛОНЕ ЛЕТА	100
«ЭКСПЕРТЫ» В ВОСТОРГЕ	49	ВОЗЛЕ ПАРОМА	103
ОТЛОВ НАЧАЛСЯ	52	СИНЕЕ ОЗЕРО — БОБРОВЫЙ РАЙ	106
ПЕРЕД ДОРОГОЙ	59	БЕДСТВИЯ БОБРОВОГО ПЛЕМЕНИ	108
ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ КОВЧЕГ	67	ВМЕСТО ЭПИЛОГА	111

Для среднего и старшего возраста

Александр Герасимович Масаренко

НА БОБРОВЫХ ТОНЯХ

ИБ № 686

Ответственный редактор *М. Ф. Мусиенко*. Художественный редактор *Т. М. Токарева*. Технический редактор *Г. Г. Стан*. Корректоры *К. И. Карваская* и *Л. А. Рогова*. Сдано в набор 19/IX 1976 г. Подписано к печати 17/II 1977 г. Формат 70×90/16. Бум. офс. № 1. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 8,19. Уч.-изд. л. 8,2. Тираж 100 000 экз. Заказ № 868. Цена 44 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата Совета Министров РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

